

Борис Васильев

Были и небыли

Книга 2. Господа офицеры

Бой

Глава первая

1

Задолго до форсирования Дуная Кавказская армия уже пересекла границу Османской империи. Передовые части ее по горным, раскисшим от тающих снегов дорогам, почти без боев вышли на линию Баязет — Ардаган, волоча на себе орудия и повозки.

— Знакомый путь, знакомый, — говорил Тергукасов на военном совете, расхаживая по штабной палатке. — Две особенности прошу припомнить и не забывать.

Генерал был невелик ростом и не любил сидеть, когда сидели подчиненные. Он всегда оставлял за офицерами право личной инициативы, но учил принимать во внимание не только военные соображения.

— Мирное население этой местности —

малоазиатские христиане. На нас они уповают, как на спасителей своих, и не учитывать сего невозможно: это первое. Второе — горы заселены курдскими племенами, воинственными и разбойными. Коли нейтралитет соблюдут — удача, однако требую крайней осторожности. В ссоры не вступать, стариков не оскорблять, скот, имущество и женщин не трогать. Карать за нарушение сего приказа. Карать прилюдно, сурово и незамедлительно собственной властью каждого командира. Мы несем свободу, миссия наша священна, и дела наши, как и помыслы, должны быть святы и благородны.

Курды внимательно следили за продвижением русских, но ни в переговоры, ни в схватки не вступали. Русские держались дорог и селений, в горы не поднимались и исконно курдских территорий не занимали. Обе стороны настороженно блюли вооруженный нейтралитет.

— Ну, абреки, — вздыхал подполковник Ковалевский, встречая гарцующих на склонах всадников. — Ну, не приведи господь. Голубчик, Петр Игнатьич, поторопи обозы. Растянулись, отстали. Да заодно и санитаров...

В санитарном отряде ехала Тая. Гедулянов и без просьб Ковалевского старался не спускать с нее глаз, просил не отходить за цепь разъездов. А командиру Хоперской сотни, что несла

арьергардную службу в тыловой колонне 74-го Ставропольского полка, сотнику Гвоздину сказал:

— Головой за нее отвечаешь.

Сотник недобро усмехнулся в прокуренные усы, но слова принял к сведению. Капитана Гедулянова знали все.

18 апреля Тергукасов вступил в Баязет. Оборонявшие его турецкие войска без боя отошли в горы Ала-Дага. Вечером того же дня генерал вызвал к себе подполковника Ковалевского.

— Удирают, — с неудовольствием сказал он в ответ на поздравления. — А я бить их пришел, а не по горам бегать. Следовательно, должен настигнуть. Настигнуть и сокрушить. А настигнуть с тылами да госпиталями не могу, и посему решил я здесь все оставить и преследовать налегке.

— А курды, ваше превосходительство? — спросил осторожный подполковник.

— Потому вас командиром и оставляю, — сказал Тергукасов. — Курды покорность изъявили, но вы — старый кавказец.

— Старый, ваше превосходительство, — вздохнул Ковалевский. — Слышал я, полковник Пацевич прибывает?

— Старшим — вы, — сурово повторил генерал. — Пацевич кавказской войны не знает, а хан Нахичеванский — глуп и горяч, хотя и отважен. — Он помолчал, глянул на Ковалевского

из-под густых, сросшихся на переносе армянских бровей. — Курды — забота. Может, торговлю с ними? Посмотрите турецкие трофеи. Торгующий враг — уже полврага.

— Слушаюсь, ваше превосходительство.

— Надеюсь на вас, крепко надеюсь. Ежели Баязет отдадите, я в капкан попаду.

— Слушаюсь, ваше превосходительство, — еще раз сказал подполковник.

На следующий день Ковалевский обследовал захваченные турецкие запасы, выделив для продажи курдам и населению соль, муку и армейские одеяла. Курды быстро узнали об этом и стали группами появляться в городе, посылая в большинстве случаев стариков и женщин с небольшой охраной — скорее почетной, чем боевой.

Офицеры бродили по узким и крутым улочкам города, пили в кофейнях густой кофе, курили кальяны да осматривали цитадель — главную достопримечательность Баязета. Однако долго осматривать ее не пришлось: вскоре прибыл капитан Федор Эдуардович Штоквич — человек угрюмый и обидно резкий.

— Начальник военно-временного нумера одиннадцатого госпиталя Тифлисского местного полка капитан Штоквич, — представился он Ковалевскому. — Назначен комендантом цитадели

вверенного вашему попечению города. Поскольку там отныне будет размещаться госпиталь, все посещения цитадели запрещают, о чем и ставлю вас в известность.

Капитан Штоквич смущал добродушного подполковника скрипучим голосом, недружелюбием и странной манерой смотреть в центр лба собеседника. Ковалевский чувствовал себя неуютно и с трудом сдерживался от желания почесать место, куда устремлялся жесткий взгляд начальника госпиталя.

— Хорошо, хорошо, — он поспешно покивал и, страдая от просьбы, добавил: — В моем распоряжении оставлены младший врач Китаевский и милосердная сестра при двух санитарных фурах. Не угодно ли вам, капитан, допустить их в цитадель, дабы все санитарные...

— Сестра милосердия — ваша родственница?

— Дочь, — виновато признался Ковалевский. — Изъявила добровольное желание, имеет документ.

— Включу на общих основаниях, — сухо сказал Штоквич. — Милосердной сестре будет, естественно, предоставлено право беспрепятственного выхода из цитадели.

— Спасибо вам, спасибо, — заспешил подполковник, чуть ли не раскланиваясь.

В тот же день Тая перебралась в цитадель.

Комендант выделил ей две комнатки во втором внутреннем дворе, приказал обставить всем необходимым и даже допустил излишество в виде ковров и старого помутневшего зеркала. Исполнив это, от знакомства уклонился, и Тая видела его лишь издали. Даже записку о беспрепятственном выходе из крепости ей передал младший врач 74-го Ставропольского полка Китаевский.

— Читал я в юности одну книжечку, — плавно журчал Максимилиан Казимирович, по-домашнему, с блюдечка прихлебывая чай. — Запомнил название уж, но суть не в названии, а в мыслях. Человек у огня живет, а без него жить не может, так-то, помнится, в ней говорилось. И огонь тот женщина хранит, дочь от матери его зажигает, мать дочери передает из века в век от времен библейских...

Китаевский говорил тихо, не мешал думать, и Тая — думала. Неизменно от веселых войсковых побудок до грустных вечерних зорей думала, где же он сейчас, этот странный, издерганный Федор Олексин. Как добрался до Кишинева, сумел ли попасть в действующую армию, нашел ли дорогу к столь необходимому для него Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. И не заболел ли, не простудился ли, не ранен ли шальной гранатой, не обманут ли людьми холодными и жестокими. Так продолжалось до начала июня. А утром того 4 июня

подполковника Ковалевского разыскал командир хоперцев сотник Гвоздин.

— Плохие новости, господин полковник.

Ковалевский пил чай на низенькой веранде. Молча поставил стакан, натянул сапоги, надел сюртук, скинутый по случаю жары.

— Так. Что за новости?

— От генерала прибыл лазутчик. Из местных армян, что ли.

— Передайте полковнику Пацевичу, хану Нахичеванскому и... и коменданту цитадели капитану Штоквичу, что я прошу их прибыть ко мне незамедлительно и непременно. А лазутчика — сюда, сотник. Да, казака к окнам. Не болтливоего.

Сотник хлопнул плетью по запыленным сапогам и вышел за глухой глиняный дувал. Ковалевский торопливо допил чай и дождался лазутчика на веранде: хотел видеть, как идет, на что смотрит. Но вошедший во двор черноусый молодой человек был озабочен и по сторонам не глядел.

— Ты кто?

— Драгоман его превосходительства генерала Тергукасова Тер-Погосов. Определился на службу по выступлению из Баязета.

Тер-Погосов стоял свободно, отвечал точно и кратко, и это нравилось Ковалевскому.

— Ты местный?

— Я родился в Баязете, но учился в Москве.

— Где же?

— В Лазаревском институте, господин полковник.

— Простите, — смешался Ковалевский. — Извините старика: любопытен. Посланы генералом?

— Да, — переводчик оглянулся, понизил голос. — По Ванской дороге к Баязету движется отряд Фаика-паши. Турок свыше десяти тысяч при шестнадцати орудиях.

— Господи... — растерянно выдохнул подполковник.

— Еще не все. Курды нарушили перемирие и тоже идут сюда. Генерал приказал передать вам два слова: «Жди. Вернусь». Передаю точно.

— Почему же... Почему ждать-то, голубчик?

— Генерал отступает к Игдырю.

Ковалевский снял фуражку, долго вытирал взмокший череп большим носовым платком. В Баязете вместе с тылами и обозниками оставалось никак не более полутора тысяч штыков и сабель да батарея в два четырехфунтовых орудия.

2

— Змея! Змея, братцы, смотрите!

— У, гадина!..

— Не быть добру...

— Точно, братцы, к беде это. К беде...

Потревоженная тяжким солдатским топотом длинная черная змея переползала дорогу. Увидев ее, рота невольно замедлила шаг, ряды смешались.

— Дахвати ты ее прикладом! — зло крикнул Гедулянов.

Его куда более тревожило узкое кривое ущелье, по которому второй час шел рекогносцировочный отряд полковника Пацевича. Нарушившие перемирие курды — а в том, что курды взялись за оружие, у капитана сомнения не было — могли обойти отряд поверху и запереть в неудобном для боя дефиле. Он все время озирался по сторонам, но крутые склоны закрывали обзор, а солдатский топот, гулко отдававшийся в холодном, застоявшемся воздухе, глушил все шумы. И подполковник Ковалевский, и Гедулянов были против рекогносцировки большими силами, предлагая выслать казачьи разъезды для освещения местности, а основные части держать в кулаке. Но решительный в бою, Ковалевский был робок с прибывшими из России офицерами, приказывать старшему в звании не решался, а спорить не умел.

— Мы разгоним этот сброд тремя залпами! — распалясь, кричал Пацевич.

— Совершеннейшая правда, — с уловимой насмешкой сказал Штоквич, вставая. — Однако прошу позволения откланяться. Я не стратег, я числюсь по санитарной части.

— Хорошо, — тяжело вздохнув, сказал Ковалевский. — Только уж коли все силы на рекогносцировку, то и мне в Баязете делать нечего. Прошу подчинить мне все части Семьдесят четвертого Ставропольского.

— Прекрасное решение! — воскликнул Пацевич, больше думая об ордене, за которым приехал, нежели о предстоящей рекогносцировке. — Увидите, как побегут эти вояки после первого же дружного «Ура!».

Ночь выдалась холодной, спать не пришлось, готовя стрелков к походу, сто раз повторяя одно и то же: чтоб не разорвали цепь, чтоб не стреляли без команды, чтоб заходили шеренгой...

— И чтоб не бежал никто, слышите меня, ребята? Курду нельзя спину показывать, он тут же тебя шашкой достанет. Пяться, ежели жать сильно станут, но лицом к нему пяться, штыком его держи.

Зазнобило еще перед рассветом, и сейчас, в ущелье, в сыром застоявшемся воздухе колотило так, что капитан стискивал зубы. А крутизна вокруг тянулась и тянулась, и Гедулянов понимал, что озноб у него не только от холода.

Навстречу из-за поворота вырвался казак. Нахлестывая нагайкой коня, бешено скакал вдоль растянувшейся пешей колонны, чудом не задевая за утесы.

— Стой! — крикнул Гедулянов. — Куда?

— К полковнику Пацевичу!

— Стой, говорю! — капитан успел поймать повод, резко осадил коня. — Что?

— Курды! — жарким шепотом дыхнул хоперц. — Курды на выходе. Гвоздин сотню спешил, огнем держать будет.

— Рота... бегом! — надувая жилы, закричал Гедулянов. — Бегом, ребята, за мной!

И, отпустив казака: он не нужен сейчас был, и Пацевич не нужен, сейчас одно нужно было — успеть, к выходу из ущелья, пока курды не смяли Гвоздина, побежал. За ним, тяжело топая и брэнча снаряжением, спешила усталая рота. Впереди грохнул залп: казаки открыли огонь, прикрывая развертывание пешей колонны.

Роты вырывались из ущелья в долину, зажатую подступающими со всех сторон горными склонами, и останавливались, топчась на месте и мешая друг другу. Не было ясной диспозиции, что делать в подобном случае, Пацевич почему-то оказался в хвосте колонны, а впереди, охватом, на горных склонах гарцевали, сверкая оружием, всадники в развевающихся ярких одеждах.

— Ростом, занимай правый фланг! — надсадно кричал Гедулянов, торопливо отводя свою роту левее, руками подталкивая растерявшихся. — Терехин, держи центр! Не ложись, ребята, стой во фронте, а штык изготовь! Сомнут, коли заляжем,

сомнут!..

За первыми ротами на смирной лошадке неторопливо выехал Ковалевский. Остановился поодаль, чтоб не мешать ротам разобраться, поговорил с сотником Гвоздиным, искоса поглядывая, как, горячась, строит роту Ростом Чекаидзе, куда отвел своих Гедулянов и ладно ли в центре у Терехина.

— Спокойно, братцы, спокойно! — крикнул он. — Это дело обычное, вроде как вилами работать. К себе не подпускай, товарищу пособляй да командира слушай.

Он кричал, перекрывая шум и говор, но и кричал-то по-домашнему, мирно, и сидел без напряжения, и даже лошадка его уютно помахивала хвостом. И эта обычность действовала лучше всяких команд: солдаты подобрались, заняли места, и весь жиденский фронт упруго ощетинился штыками.

Из ущелья все еще вытягивались роты, пристраиваясь во вторые и третьи линии, курды по-прежнему гарцевали, не рискуя приближаться на выстрел после единственного залпа хоперцев, и все как-то успокоилось и примолкло. Наступило равновесие боя, противники ждали действий друг друга, и никто не решался первым стронуть свою чашу весов. Ковалевский пошептался с Гвоздиным, и тот начал отводить казаков из аванпостной линии

к скалам, где коноводы держали лошадей в поводу.

— Бог даст, постоим да и разойдемся, — негромко сказал подполковник Гедулянову. — Главное дело — их под руку не подтолкнуть. Я Гвоздину велел назад поспешать на полном аллюре, пока выход из щели не отрезали, да сейчас не проскочишь, свои покуда мешают.

Полковник Пацевич появился с последними полуротами. Наспех оглядевшись, подскочил к Ковалевскому:

— Почему стоим? Почему не атакуем? Разогнать дикарей! Залпами, залпами!

— Господин полковник, я прошу ничего... — умоляюще начал подполковник.

— Господа офицеры! — закричал Пацевич, вырывая из ножен саблю. — Стрельба полуротно залпами...

— Господин полковник, отмените! — отчаянно выкрикнул Ковалевский.

— Приказываю молчать! За неподчинение...

Все смешалось после первого залпа. Свободно гарцевавшие по склонам курды мгновенно перестроились, словно только и ждали, когда русские начнут. В центре они тут же открыли частую беспорядочную стрельбу, лишь демонстрируя готовность к атаке, а фланговые группы с дикими криками помчались вниз на топтавшийся у горла ущелья русский отряд.

— Гедулянов!.. — странным тонким голосом выкрикнул Ковалевский.

Он приник к лошадиной шее, прижав правую руку к животу. И из-под этой руки текла густая черная кровь.

— Ранены? Вы ранены? — подбегая, крикнул Гедулянов.

— Не кричи, не пугай солдат... — с трудом сказал подполковник. — Отходи в ущелье. По-кавказски отходи, перекатными цепями. А меня... на бурку. В живот пули. Жжет. Отходи, Петр, солдат спасай. Не мешкая, отходи...

— Ставропольцы, слушай команду! — перекрывая ружейную трескотню, конский топот и гиканье атакующих курдов, закричал Гедулянов. — Перекатными цепями! По-полуротно! Отход!..

— Как смеете? Как смеете? Под суд! — надрывался Пацевич, по-прежнему зачем-то размахивая саблей. — Запрещаю!..

— Я своими командую, — резко сказал Гедулянов. — Мои со мной пойдут, а вы, если угодно, можете оставаться.

В рекогносцировочном отряде было три роты ставропольцев, по сотне уманских и хоперских казаков и рота Крымского полка. Гвоздин уже увел хоперцев, а командир уманцев войсковой старшина Кванин сказал, как отрезал:

— Казаков губить не дам.

Сам отход — бег, остановка, залп, бег, остановка, залп — Гедулянов помнил плохо. В памяти остались бессвязные куски, обрывки криков, команд, нескончаемый грохот залпов да истошные крики нападающих курдов. Пацевич окончательно растерялся, что-то орал — его не слушали. Солдаты уже поняли, как надо действовать, чтобы курды не рассекли на части живой, ошестиненный, точно еж, клубок, и в командах не нуждались.

Гедулянов вошел в цитадель, когда втянулись все, кто уцелел. К тому времени ворота уже были закрыты и оставалась только узкая калитка, к которой пришлось пробираться через разбросанные тюки, тряпки, одеяла, ковры. Снаружи вход охраняли солдаты, а внутри у самой калитки стоял Штоквич. Солдаты таскали из внутреннего двора плиты и наглухо баррикадировали ворота изнутри.

— Все прошли?

— Мои все, — сказал Гедулянов. — Почему вещи валяются?

— С вещами не пускаю, — скрипуче сказал комендант. — Армяне из города набежали, боятся, что курды вырежут.

— Ковалевский как?

— Не знаю, я не врач. Извольте принять под свою ответственность первый двор и прилегающие участки.

— Вы полагаете...

— Я полагаю, что нам следует готовиться, капитан. На Красные Горы вышли черкесы Гази-Магомы Шамиля. Уж он-то случая не упустит, это вам не курды.

3

Утром 26 июня полусотня донцов под командованием есаула Афанасьева с гиканьем ворвалась в маленький, со всех сторон стиснутый высотами городишко Плевну. Турки бежали без выстрела, ликующие болгары окружили казаков, в церквах ударили в чугунные била (колокола турки вешать запрещали). Выпив густой, как кровь, местной гымзы, есаул дал казачкам чуточку пошуровать по пустым турецким лавкам и еще засветло покинул гостеприимный городок.

— Было три калеки с половиной, — с нарочитой донской грубоватостью доложил он командиру Кавказской бригады полковнику Тутолмину. — Разогнал, братушки рады-радешеньки, чего зря сидеть? За сиденье крестов не дают.

В Западном отряде, куда входила Кавказская бригада Тутолмина, крестами позвякивало с особой отчетливостью, ибо генерал Криденер считал награды первоочередной задачей боя. Он остро

завидовал Гурко, зависти этой не скрывал, а того, что задумал сам, не сообщал никому.

Задача, полученная им, — «сдерживать противника, только сдерживать!» — казалась ему до обидного незначительной. Он долго изучал карту, прикидывал возможности и весьма скоро уверовал в то, что в штабе главнокомандующего на эту карту должным образом не смотрели. Его Западный отряд находился ближе к сердцу Болгарии — к Софии, а посему именно он, барон Криденер, и должен был стать основной фигурой в этой войне. Идея была ясна, но мешал Никополь, повисший на левом фланге — Виддин Криденер в расчет не брал, полагая, что турки не рискнут снять войска с румынской границы. А Никополь с его восьмитысячным гарнизоном и более чем сотней орудий был угрозой реальной, избавиться от которой следовало немедленно, дабы развязать себе руки для предстоящего победоносного марша.

— Штурмовать эту развалюгу? — с недоумением спросил начальник штаба 9-го корпуса генерал-майор Шнитников.

Криденер не терпел возражений, коли решение им было уже принято. Зная его упрямство, Шнитников спорить не стал, тем паче, что и командир 5-й дивизии Шильдер-Шульднер горячо высказался за немедленный штурм. Взятие первой турецкой крепости обещало ордена, славу и

одобрение свыше, почему никто и не спорил, хотя в целесообразности этой операции сомневались многие. Лишь прикомандированный к Западному отряду генерал-майор свиты его величества открыто и нервно сопротивлялся:

— Осмелюсь напомнить, Николай Павлович, что вы получили приказ сдерживать противника. Сдерживать, не давая ему возможности прорваться к нашим переправам на Дунае.

— Наступление — лучший способ держать неприятеля в напряжении, генерал. Не учите пирожника печь пироги.

— Однако, Николай Павлович, не следует при этом забывать о всей массе неприятельских войск.

— Вы прибыли за орденом? После падения Никополя я вам предоставлю такую возможность. Но в самом деле вы не будете принимать никакого участия, ибо генерал, не верящий в целесообразность операции, во сто крат опаснее врага.

Сам Никополь штурмовать не пришлось: он капитулировал после артиллерийской бомбардировки. Отстраненный от всякой деятельности представитель ставки в сражении участия не принимал, переживая это как личное оскорбление. Пока Криденер торжествовал победу, писал репортажи и приводил в порядок войска, он одному ему ведомыми путями узнал то, чего

интуитивно опасался.

— Турки начали перебрасывать войска в наш тыл, Николай Павлович. Я настоятельно прошу незамедлительно отдать приказ Кавказской бригаде занять Плевну. Пока еще не поздно.

Отправить Кавказскую бригаду Тутолмина в Плевну означало для Криденера ослабить собственный отряд. Пойти на это добровольно он не мог: ему все еще мерещился победоносный марш на Софию.

— Я обещал вам, генерал, предоставить возможность отличиться. Так вот, будьте, добры сопроводить в Главную квартиру коменданта Никополя. Думаю, что его величество по достоинству оценит вашу исполнительность.

— Николай Павлович, я понимаю, что неприятен вам, и тем не менее я настоятельно прошу...

— Коляска и конвой ждут.

— Ваше превосходительство, я умоляю...

— Вас ждут коляска, конвой и пленный паша. Поторопитесь, генерал, я вас более не задерживаю в Западном отряде.

Выведенный из равновесия упрямством Криденера, представитель загнал коней по пути к болгарской деревушке Павел, где располагалась Главная квартира. Конвойные казаки угрюмо ругали сумасшедшего генерала, сам он, покрытый

пылью и грязью, еле держался на ногах, и только пленный, комендант Никополя весело скалил зубы в черную бороду. Эта улыбка неприятно поразила императора; он тут же велел увести пленного и стал расспрашивать о подробностях взятия Никополя.

— Ваше величество, это авантюра, — хрипло, с трудом сказал генерал. — Из Виддина в наш тыл перебрасываются свежие таборы. Я знаю об этом достоверно.

— Ты, видимо, устал, — с неудовольствием сказал Александр. — Это блестящая победа нашего оружия. Турецкий главнокомандующий и его начальник штаба смещены с постов и отданы под суд. Такова паника, которую вызвал Криденер в Константинополе.

— Ваше величество, велите немедленно занять Плевну.

— Благодарю тебя за труды, они будут отмечены. Ступай, отдохни и... и выезжай в Россию. Здесь ты мне более не понадобишься.

Генерал за ненадобностью отбыл в Россию, а барон Криденер получил орден святого Георгия III степени. Однако вместе с поздравлениями от Артура Адамовича Непокойчицкого пришло и телеграфное предписание озаботиться городишком Плевной, в котором, по слухам, находятся четыре табора низама, два эскадрона сувари и черкесы при неизвестном, но вряд ли значительном количестве

артиллерии. Это еще не звучало приказом, но Криденер умел читать между строк и скрепя сердце выслал к досадной Плевненской занозе отряд генерал-лейтенанта Шильдер-Шульднера числом в семь тысяч штыков и чуть более полутора тысяч сабель при сорока шести орудиях.

Отряд шел, как на усмирение, не утруждая себя ни разведкой, ни дозорами. Справа от основной группы — Архангелогородского и Вологодского полков — двигались костромичи, усиленные двумя сотнями кубанцев, еще правее — 9-й Донской казачий полк, а левый фланг прикрывала Кавказская бригада Тутолмина. Колонна растянулась, обозы и летучие парки отстали, и все — от старших командиров до каптенармусов — мечтали как можно скорее, достичь Плевны, вышибить дух из турок и вернуться к Никополю, дабы не опоздать к моменту славного броска к сердцу Болгарии.

На подходе к Плевне, о гарнизоне которой командир отряда имел весьма смутное представление, в деревеньке Буковлек навстречу русским вышел пожилой болгарин.

— Турки в Плевне, братушки! Много пашей, много таборов, много пушек!

— Вот мы и пришли их бить, — сказал командир архангелогородцев полковник Розенбом. — Скажи братушкам, пусть завтра в

Плевну побольше мяса везут: победу праздновать будем.

Мяса в Плевне хватило: в половине седьмого утра Иоганн Эрикович Розенбом, во главе своих архангелогородцев ворвавшийся-таки в Плевну, был убит наповал у первых домов. Но это случилось на шестнадцать часов позднее, а тогда и турок-то никаких не было видно, и не прогремело еще ни одного выстрела, а усталость уже покачивала солдат. И потому на предостережение никто не обратил внимания, передовые части миновали деревушку, а когда стали спускаться в низину Буковлекского ручья, с Опанецких высот полыхнул первый залп.

— Наконец-то! — радостно крикнул командир артиллеристов генерал Пахитонов. — Разворачивайся с марша, ребята, и — пли. Пли!

Стрелки рассыпались в цепь, открыв частую стрельбу. Под их прикрытием Пахитонов развернул батареи, пехотинцы перестроились с маршевых в боевые колонны, русские пушки тут же начали ответный огонь. И тут же растерянно замолчали: их снаряды рвались на скатах, не достигая турецких позиций, а турки по-прежнему били по колоннам.

— У них стальные крупновские орудия, — с завистью сказал командир батареи, первой открывшей огонь. — Как прикажете далее, ваше превосходительство?

— Далее замолчать, — угрюмо распорядился Пахитонов. — Берите на передки и скачите на дистанцию действительного огня.

Костромской полк тоже обстреляли на марше, но осторожный его командир полковник Клейнгауз выслал вперед кубанцев. Привычные к таким делам казаки теньями скользнули по балочкам, обошли врага и через полтора часа доложили, что за Гривицкими высотами расположен большой турецкий лагерь. Полковник прикрылся цепью разъездов и секретов, приказал костромичам отдыхать без костров и куренья, отправил донесения по команде и стал терпеливо ждать рассвета, завернувшись в шинель подобно своим солдатам.

Однако вздремнуть ему не пришлось: прискакал командир 9-го Донского полка полковник Нагибин. Принимать гостя было нечем да и не ко времени; выпили коньяку, а затем Нагибин взял Клейнгауза под руку и повел в сторону от солдатского храпа и офицерского говора. Сказал приглушенно еще на ходу:

— Игнатий Михайлович, прощения прошу, что от дремоты оторвал. Мои казаки собственной охотой поиск произвели. По их словам за Видом противника — колонн восемь, если не больше. С артиллерией, котлами и бунчуками.

— Моих, Нагибин, добавьте, что кубанцы за

Гривицкими высотами обнаружили.

— Вот-вот, Игнатий Михайлович. Мы-то считали, что в Плевне от силы четыре табора. А тут получается...

— Получается, что нужно уходить, — не дослушав, сказал Клейнгауз. — Уходить немедленно и без всякого боя.

— За тем и прискакал, Игнатий Михайлович. Надо бы Шильдеру разъяснение — это на себя приму. А вы Криденера уведомите, что Плевна уже не «плевок», как он говаривал, а — орешек.

— Главное беспокойство — разбросаны мы очень, веером дамским наступать вздумали, — вздыхал Клейнгауз. — Нет, нет, вы правы, вы совершенно правы.

Ни отправить докладных записок, ни даже написать их полковники не успели. Уже в темноте от Шильдер-Шульднера прибыл нарочный с приказом атаковать Плевну «концентрическими ударами».

Это был приказ, и все сомнения исключались. Нагибин, нахлестывая коня, помчался к себе, а Клейнгауз, сыграв тревогу, приказал оставить на месте ночевки ранцы, шинели и обоз и бегом поспешать туда, где полагалось быть полку к началу всеобщего «концентрического» наступления.

Время рассчитали из рук вон плохо, если

расчетом времени вообще кто-либо занимался. Толковых штабных офицеров в армии хватало, но генералов, привыкших полагаться на собственные представления о вчерашних войнах, в России всегда было больше. Даже вологодцы с архангелогородцами изготавились для боя не к четырем, а на час позже; рокот барабанов, играющих атаку, раздался лишь в половине шестого. Офицеры вырвали сабли из ножен, солдаты привычно сбросили на левые руки полированные ложа винтовок, и полки без выстрела пошли в атаку на занятые турками высоты, со всех сторон окружавшие Плевну. Шли молча, смыкая шеренги над убитыми и ранеными, копя силу и ярость. И взорвались вдруг хриплым, одинаково страшным как для просвещенной Европы, так и для дикой Азии знаменитым русским «Ура!».

Ни турецкие стрелки, ни стальные орудия Круппа, осыпавшие атакующих гранатами на всех дистанциях атаки, не смогли сдержать натиска русских полков. Солдаты неудержимо рвались к высотам, и турки, вяло посопротивлявшись, отошли за линии последних ложементов. Архангелогородцы взлетели на гребень и скрылись за ним, и бой стал удаляться, откатываясь к окраинам Плевны. На неистовом реве сотен пересохших глоток поредевшие батальоны скатились к первым домам. Победа была в руках:

каждый солдат чувствовал уже ее ртутную тяжесть; казалось, еще совсем немного, еще один удар, пять шагов, две штыковых и... И свежие таборы турок с двух сторон неожиданно бросились в штыки.

Поднятые раньше всех по тревоге костромичи налегке совершили марш и вступили в бой ненамного позднее основного ядра. Им предстояло пройти длинным, пологим, открытым со всех сторон скатом к Гривицким высотам, и они прошли, усеяв поле белыми рубахами павших. Здесь перед костромичами открылось три линии турецких окопов, ощетиленных огнем и штыками; перестраиваться не было времени, и полк бросился в атаку с ходу. Две линии окопов костромичи взломали единым порывом, когда смертельно раненным пал командир полка. А спереди была в упор третья линия турецкой обороны, и полк затоптался, теряя порыв и ярость.

— Знамя, — еле слышно сказал Клейнгауз. — Знамя — вперед...

Он умирал на руках подпоручика Шатилова, и подпоручик понял его последний приказ. На мгновение прижался лбом к залитой кровью груди командира, осторожно опустил тело на землю и вскочил. Кругом все гремело, выло и стонало, и никто уже не слушал команд. Шатилов в дыму и толчее разглядел знаменосца, бросился к нему и вырвал знамя;

— Ребята! — он понимал, что кричит последний раз в жизни, и уже ничего не жалел и не щадил. — Ребята, коли меня оставите, то и знамя погибнет! Не выдавайте, братцы!

И побежал вперед, к турецким окопам, неся знамя наперевес, как ружье. И упал, не добежав, с разбега уткнувшись простреленным лицом в тяжелый шелк. Остатки полка бросились к упавшему знамени столь дружно и неистово, что турки, не принимая боя, спешно бросили окопы и откатились к Плевне.

В то время как архангелогородцы гибли у первых плевненских домов, 9-й Донской полк в пешем строю отбивал атаки турок на правом фланге, а костромичи истекали кровью на Гривицких высотах, Кавказская бригада Тутолмина — основная ударная сила и подвижной резерв Шильдер-Шульднера — бестолково металась по заросшим кустарником низинам в районе Радищево. Вокруг уже гремел бой, турки поодиночке били разрозненные полки, а кавказцы все еще лихорадочно искали возможность буквально исполнить явно неисполнимый приказ Шульднера. И только когда с Гривицкого гребня стал пятиться Костромской полк, Тутолмин наконец прекратил бесплодные поиски путей к Плевне и во весь мах помчался к Гривице.

Сражение, вошедшее в историю под

названием Первой Плевны, было проиграно изначально, еще до сигнала атаки, еще в голове командира. В результате наступления «дамским веером» Архангелогородский полк потерял убитыми и ранеными тридцать три офицера и девятьсот восемьдесят восемь солдат; Вологодский — семнадцать офицеров и четыреста двадцать девять нижних чинов; костромичи недосчитались двадцати трех офицеров и восьмисот пятидесяти двух солдат. И «Вечная память» надолго приглушила звонкую медь полковых оркестров.

Торжествовали в Плевне, с восточной пышностью поздравляя командующего Османа Нури-пашу. Но Осман-паша не спешил улыбаться:

— Если среди убитых в белых рубахах вы найдете хоть одного, сраженного в спину, я возрадуюсь вместе с вами. Укрепляйте высоты. День и ночь укрепляйте высоты. Русских может сдержать только земля...

Глава вторая

1

Федор лежал лицом к обшарпанной, в жирных пятнах стене дешевого — дешевле стоила только ночлежка — номера, а видел небывало

переполненный Кишинев. Видел изворотливых мелких дельцов, маклеров и агентов, развивающих бурную деятельность в надежде выбить, выпросить, выторговать, вымолить, выцыганить пятиалтынный на каждый вложенный гривенник; видел неторопливых, знающих цену себе и всему на свете тыловииков-интендантов, через липкие руки которых шли сотни тысяч пудов хлеба и мяса, овса и сена, шли шинели и портяночное полотно, сапоги и седла, палатки и медикаменты — шел дикий навар войны; видел молчаливых, почти незаметных в серых своих сюртучках заправил-поставщиков, слово которых могло озолотить, а могло и уничтожить и мелкого барышника, и крупного воротилу, а доходы измерялись гарантированными государством миллионами. Он насмотрелся и на тех, и на других, и на третьих, он ощутил их физически, как ощущают падаль, он во многом разобрался и только никак не мог понять, что же делать ему, Федору Олексину. За границу империи, а тем паче за Дунай без специального разрешения военных властей не пускали, Скобелева в Кишиневе уже не было, и, где он находился, никто сказать не мог. А деньги — и те, о которых он знал, и те, которые незаметно подсунула ему Тая, — деньги давно уже превратились в считанные двугривенные, каждый из которых означал либо какую-то еду, либо возможность еще сутки

валяться на голом матрасе в трехкочном номере, и Федор последнее время ел через день, всячески оттягивая срок, когда придется что-то решать: либо подаваться в «вольноперы», заведомо отказавшись от всяких надежд пройти огненную купель под стягом самого отважного и безрассудного из русских полководцев, либо падать еще ниже в нищету, грязь и небытие.

— Ай, повезло, ай, счастье-то какое, господи! Ай, господи, благодарю тебя и кланяюсь низко! — радовался тихий облезлый маленький человечек без определенного возраста, занятий и положения Евстафий Селиверстович Зализо. — Шестнадцать рубликов семейству отправил и долги расплатил сполна. Шестнадцать целковеньких супружнице и деткам!

Евстафий Селиверстович посредничал в мелких сделках, вел случайную переписку, а вечерами играл по маленькой с купцами, подрядчиками и маклерами третьей руки, мухлевал и передергивал, но темных дел боялся. Заработок был невелик и неустойчив, и Зализо куда чаще возвращался с синяками, чем с целковыми.

— Раз побьют да и два побьют, а там, глядишь, и господь смилуетя, пожалеет меня да тузика подкинет, — приговаривал он, собираясь на вечерний промысел.

— Бога-то хоть в шулера не зачисляйте, —

сердился желчный отставной капитан Гордеев, второй сожитель Федора.

— То присказка такая, присказка, — поспешно оправдывался Евстафий Селиверстович. — К слову, как бы сказать, глубокоуважаемый господин Гордеев.

— По мне уж коли играть, так не мелочиться, — непримиримо ворчал капитан. — Поставьте тысяч на десять, смухлюйте — и домой. А вы десятку наскребете и радуетесь. Глупо и мелко.

— Помилуйте, Платон Тихонович, за десяточку мне по роже съездят, а за тысячу... Да что там — тысяча! За сто рублей жизни решат. А у меня — супружница, детки, семейство.

— Рыба вы, а не игрок.

— Рыба, — покорно соглашался тихий Евстафий Селиверстович. — Я, господа, бывший идеалист. С юности, от младых, как бы сказать, ногтей в благородство верил, как во спасение. Стихи декламировал, в живых картинах участвовал, рыцарей изображая. Знаете, когда воровство кругом да гадство, как приятно в живых картинах рыцарей изображать. Дамы платочками машут, начальство улыбается, и всем очень покойно. Очень. Это ведь приятнее даже для русского человека, чем о свободе рассуждать. Вот я им всем и приятствовал, а сам верил. Верил, господа, истово верил, вот что

умилительно.

— И во что же верили?

— А во все, во что отечество верить наказывает. В законы, в честность, в мужей государственных, даже... — Зализо понизил голос, — даже в справедливость, господа, хоть побейте, верил. Верил! А тут как раз из самого Санкт-Петербурга сановник пожаловал. Добрый такой господин, сединами убеленный. Стал чиновников по одному к себе на беседу вызывать, и до меня очередь дошла. А я уже специально изготовился к рандеву этому, цифры подобрал, случаи разные и все на бумаге изложил.

— Опять глупость, — угрюмился Гордеев. — На что рассчитывали? Чин, поди, мерещился? Вызов в Сенат?

— Нет, что вы, господа, нет и нет! — пугался Евстафий Селиверстович. — Ни на что я не рассчитывал, господь с вами, Платон Тихонович. Я отечеству помочь стремился, я о нем помышлял, я указать хотел, куда денежка казенная утекает, в какую прорву ненасытную. Вот о чем я думал, поскольку в честности воспитан был. И в записочке той ни грана клеветы не содержалось, а дело все так перевернулось, этаким, как бы сказать, фарсом трагическим, что вылетел я со службы, как только лошадки особу за город вынесли. Изгнан был с позором и срамом, аки клеветник и доносчик. Вот

куда меня искренность моя привела, на край, как бы сказать, пропасти падения человеческого.

— А закон? — не выдержав причитаний, раздраженно спросил Федор. — Есть же закон, господин Зализо. Есть же управа на губернских самодуров.

— Закон? — бывший чиновник тихо рассмеялся. — Какой закон, господин Олексин? Это в Английском королевстве закон, а у нас — поправки к оному. Пятнадцать томов поправок, указов да разъяснений: не изволили сталкиваться? Ну, храни вас господь от этого. Россия — страна поправочная, а не законная. Поправочная, глубокоуважаемый господин Олексин.

Евстафий Селиверстович Зализо был не только бывшим виновником, но и бывшим человеком. Но второй — угрюмый, внутренне напряженный, как туго взведенная пружина, отставной капитан Гордеев — был интересен уже тем, что ничего о себе не рассказывал. Писал бесконечные прошения, получал отказы, снова писал и снова получал, но не жаловался. Раз только, получив откуда-то пространное, но тоже явно отрицательного свойства письмо, насильственно усмехнулся:

— Почему тем, кто пишет правду, не верят с особым злорадством, Олексин?

У Федора случился очередной приступ

меланхолии, и отвечать Гордееву он не стал. Впрочем, отставной капитан и не ждал ответа, а тут же достал походную чернильницу, пачку голубоватой немецкой бумаги и начал старательно скрипеть новым стальным пером.

Разговор между ними произошел в тот день, когда вдруг разоткровенничался Зализо, выигравший накануне четвертной. Выговорившись, Евстафий Селиверстович тотчас же и ушел, поспешая ко времени, когда мелкой тыловой сошке уж очень захочется попытаться счастья за зеленым сукном. Отставной капитан проводил его прищуренным глазом, помолчал и сказал весомо:

— Врет.

— Отчего же полагаете так? — вскинулся Федор, которого чем-то тронул рассказ бывшего искателя истины. — Он говорил искренне, и сомневаться, право же...

— А я и не сомневаюсь, — грубовато перебил Гордеев. — Я без сомнения знаю, что мошенник он и лгун. Заметьте себе, Олексин, что не все мошенничают, но все лгут. Все нормальные люди непременно же лгут, а коли правду режут, так либо с ума сошли, либо в начальники выбились.

— Вы — мизантроп, Гордеев.

Отставной капитан невесело усмехнулся в густые, с обильной проседью усы. Походил по номеру, с хрустом давя тараканов, сказал вдруг:

— Хотите сказочку послушать? Очень полезная сказочка для юношей, кои героев ищут не в Древнем Риме.

— Тоже лгать станете? — ядовито осведомился Федор.

— Непременно, — кивнул Гордеев. — На то и сказка, Олексин, чтоб лгать свободно, так уж давайте без претензий. Стало быть, в некотором царстве, в некотором государстве на глухой и непокорной окраине служили два немолодых офицера при молодом полковнике. Полковник тот был хоть и весьма молод, но уже и знаменит, и отмечен, и геройствами прославлен аж до града престольного, а посему имел отдельный отряд, веру в собственную звезду и жажду славы. Вы слушаете, Олексин, или опять считаете тараканов?

— Слушаю, — отозвался Федор. — Полковник имел синие глаза и ржаные усы, и звали его...

— А вот этого не надо, — остановил Гордеев. — Сказка имен не любит. Так что либо сказку слушайте, либо я гулять пошел.

— Давайте сказку, — лениво зевнул Федор. — О Бове Королевиче.

— Бова Королевич? — отставной капитан неожиданно улыбнулся. — А пусть себе, к нему это подходит. Но сначала об офицерах, коих наречем... Фомой да Еремой. Так вот Фома — из захудалых

дворяшек — из кожи вон лез, чтобы только Бове Королевичу угодить. Не из низости характера, Олексин, — мягкий, воспитанный да слабый был господин сей, уж мне поверьте, — а угодничал по той простой причине, по которой наш брат русак скорее всего угодничать начинает: по причине долгов, родственников да несчастий. Вот все это досталось Фоме в избытке — и долги, и родственников орда целая, и несчастий по двадцать два на неделе, а доходов — одно жалование. Скольким пожалуют, стольким и жив: вам, Олексин, понятна страшная механика сия?

— А Ерема? — настороженно спросил Федор.

— А Ерема из разночинцев, Олексин, ему проще, потому как привычнее, и психею его не ломает. Дед у него — вольноотпущенник, отец на ниве народного просвещения подвизался, а самого Ерему в Николаевскую академию занесло. Впрочем, к сказке все это отношения не имеет, а суть в том, что Бова Королевич вздумал на свой страх и риск малым своим отрядом взять довольно сильную крепость. И только к походу изготовился, как ловят казачки немирного турк... туземца, Олексин, туземца. Туземец попался бравый, в лицо Бове Королевичу смеется и на своем туземном языке утверждает, что движется на Бову большой туземный отряд. Врет? Ну, так и слава богу, и пусть себе врет, а мы будем крепость штурмовать. А

вдруг не врет? Вдруг правду бормочет, басурманская рожь? А коли правду, то о крепости тотчас и позабыть надо, и силы совсем даже в другую сторону разворачивать. Понятна вам задача, Олексин?

— Понятна, — без особого интереса откликнулся Федор, хотя все, что касалось «Бовы Королевича», слушал внимательно.

— И как бы вы решили ее?

— Не знаю, я не военный. А как он ее решил? Ну, ваш Бова Королевич?

— Просто, как Колумб — задачку с яйцом. Вызвал Фому да Ерему и приказал бить того туземца смертным боем, пока правды не скажет.

— И вы?.. — с неприкрытым презрением спросил Федор.

— Мы?.. — отставной капитан натянуто улыбнулся. — Это же сказка, Олексин, просто — сказка. И по сказке той получается, что разночинный Ерема тут же больным себя объявил, а несчастный Фома, поплакав да помолясь, взял цепь, на которой бадью колодезную крепят, и начал цепью этой...

— Не надо... — брезгливо отвернулся Олексин.

— Это же сказка, так что потерпите, — усмехнулся Гордеев. — Суть ведь не в том, как Фома бил да как туземец кричал. Суть в том, что

правду он все же из него выбил: не было никакого отряда, никто ниоткуда не угрожал — и Бова Королевич мог преспокойно штурмовать крепость всеми наличными силами.

— А если и здесь ложь? Если солгал туземец тот?

— Это перед смертью-то? — холодно улыбнулся Гордеев. — Перед смертью правоверному нельзя врать, а то Магомета не увидит и гурии его не усладят.

— Значит...

— Значит, Олексин, значит. До самой смерти в присутствии муллы кованой цепью бил. Плакал, о прощении умолял и бил, вот какая очень русская история, юный друг мой. А когда забил...

— Перестаньте бравировать!

— Когда забил, с облегчением великим к Бове Королевичу побежал. С облегчением и бумагой, в которой арабской вязью все изложено было и подписью присутствовавшего священнослужителя скреплено. Бова бумагу взял, а Фому не принял, будто и не было его вовсе, Фомы этого несчастного, будто бумага по воздуху приплыла. А Фома не понял ничего или понять испугался и все сидел возле палатки. Вышел наконец Бова, глянул на Фому как на пустое место, и пошел себе. В нужник. И все офицеры сквозь этого Фому глядеть стали: даже ближайший сослуживец Ерема и тот руки не

подал, — Гордеев вздохнул. — Вечером ни к одному костру его не пригласили, никто на слова его не отвечал, и к утру Фома пулю себе меж глаз запустил. А у него — детей шесть душ, родственников бездельников куча да жена больная да бестолковая.

— Послушайте, Гордеев, это же... Это же ужасно, что вы рассказываете.

— Это же сказка, Олексин, извольте уж до конца дослушать. Так вот взял лихой Бова Королевич крепость и наутро списки отличившихся потребовал. А списки Ерема составлял и включил туда покойного Фому: при боевом ордене и с пенсией, глядишь, что-либо выгореть могло. «Что? — спросил Бова Королевич. — Самоубийце — «Владимира с мечами»? Да за такую награду у меня завтра пол-отряда перестреляется». И вычеркнул покойного Фому из списков собственным золотым карандашом. Через месяц Бова Королевич генеральский чин получил, а Ерема — полную отставку без пенсионера и мундира как человек ненадежный и к службе в Российской империи непригодный.

— Да за что же, помилуйте? Причина ведь должна быть. Хоть какая-то, хоть видимая.

— За что? — Гордеев вздохнул. — В России, Олексин, все прощают — и длинные руки, и длинные уши. Только длинного языка не прощают,

запомните на всякий случай.

Разговор этот оставил в душе Федора гнетущее впечатление. Но вскоре как-то незаметно для себя Федор начал сомневаться в сказочке отставного капитана, а потом и вовсе уверовал, что сказочку сию Гордеев сочинил для собственного обеления, а сам либо трус, либо подлец, либо растратчик. И снова отвернулся, снова замолчал, и Платон Тихонович не беспокоил его более ни вопросами, ни рассказами, грустно усмехаясь в густые усы. И опять писал прошения Гордеев, залечивал синяки Евстафий Селиверстович да считал тараканов Федор Олексин, ночами ощущавший вдруг прилив невероятной решимости непременно с зарею бежать записываться вольноопределяющимся, а поутру вновь переживая очередной и уже такой привычный отлив всех нравственных сил. И гнить бы ему в той кишиневской дыре, если бы у бывшего чиновника Евстафия Селиверстовича Зализы не оказался редкостный, витиеватый, столь любимый купеческими нуворишами почерк. С этим скромным даром Евстафий Селиверстович днем ходил по трактирам, изредка подрабатывая сочинениями любовных, частных и семейных писем, а вечерами играл, трусливо мечтая хотя бы удвоить содержимое всех своих карманов, но куда чаще проигрываясь до последней копейки.

— Федор Иванович! Федор Иванович, пожалуйста вниз, в коляску.

Зализо вбежал в номер в час неурочный и в состоянии весьма взволнованном. Отставной капитан бродил где-то по присутствиям, а Олексин привычно валялся на голом матрасе, лениво размышляя, сейчас истратить двугривенный или приберечь до вечера.

— Пожалуйста в коляску, господин Олексин! Ждут!

— Кто ждет?

— Туз, Федор Иванович, — восторженно зашелся Зализо. — Козырный туз, господин Олексин! Натуральный! Велел вас к нему...

— Пусть сам идет, коль нужда.

Федор демонстративно отвернулся к стене, а впавший в отчаяние Евстафий Селиверстович заметался, заюлил, замулял, пытаясь вот-вот рухнуть на колени.

— Ведь озолотят, ежели в каприз войдут. Озолотят!

— Пошел он к черту, туз этот. И вы вместе с ним.

— Браво, господин Олексин, иного и не ожидал. Вы подтвердили свое шестисотлетнее столбовое дворянство.

Голос был звучным и уверенным, и Федор настороженно повернулся. В дверях, держа в левой

руке мягкую шляпу, а правой опираясь на трость с золотым набалдашником, стоял плотный господин в сером тончайшей шерсти английском костюме. Встретил взгляд Федора насмешливыми глазами, слегка поклонился:

— Позвольте отрекомендоваться: Хомяков Роман Трифионович. В Смоленске был представлен вашей тетушке Софье Гавриловне и сестрице Варваре Ивановне. Не обедали еще, Федор Иванович?

— Пощусь, — угрюмо сказал Федор: его злил и одновременно смущал энергичный напор невесть откуда возникшего господина.

— Не пора ли уж и разговеться?

Вопросы были мягкими, но напор не исчезал. Федор физически ощущал его и, еще продолжая злиться, нехотя начал слезать с кровати.

— В такой-то одежде далее трактира не пустят. Да и то в первую половину, возле дверей.

— Но вам-то, судя по всему, ваша одежда нравится? — улыбнулся Хомяков.

— Мне — да! — с вызовом сказал Федор.

— Вот и прекрасно. Прошу, Федор Иванович, — Роман Трифионович пропустил растерянного Федора вперед, сунул четвертной подобострастно юлившему Зализе: — Ступай в мою контору и скажи управляющему, что я велел взять тебя писарем.

— Ваше пре... — начал было Зализо, но дверь захлопнулась; бухнулся на колени, истово осенил себя крестным знамением. — Спасибо тебе, господи! Услышал ты моления мои. Услышал и ангела послал. Благодарю тебя, господи, благодарю!..

2

Летучий отряд без боев продвигался вперед. Турки избегали столкновений, а если их к этому вынуждали, сопротивлялись нехотя, рассеиваясь при первой же возможности. Эта тактика очень не нравилась осторожному Столетову.

— Живая сила противника не разгромлена, Иосиф Владимирович, — говорил он в частной беседе. — Враг отходит планомерно, без признаков паники. Не означает ли сие, что турки намереваются повторить кутузовское отступление двенадцатого года?

Генерал-лейтенант Иосиф Владимирович Гурко предпочитал молчать и слушать, а споров вообще не выносил, полагая их салонной принадлежностью. Поэтому военные советы его носили характер поочередных докладов, невозмутимо выслушивая которые Гурко либо укреплялся в уже принятом им решении, либо менял его, если и до этого в нем сомневался. Это

обстоятельство весьма обижало герцогов Лейхтенбергских, командовавших бригадами отряда. Но генерал Гурко был назначен самим государем, и братья-герцоги терпели столь несветское поведение.

Турецкие войска ожидали еще под Тырново, и Гурко приближался к нему с оглядкой, сдерживая лошадей и собственное нетерпение. Но вольноопределяющийся кубанского полка урядник Цертелев очертя голову кинулся вперед. Наспех расспросив встречных болгар, а заодно и турок, где противник и сколько его, князь бешеным карьером проскакал по кривым улочкам древней столицы Болгарии, переполошив гарнизон и несказанно обрадовав жителей, увернулся от пуль, ушел от попытки перехватить его и лично доложил Гурко, что турецкий «дракон» мал, перепуган и уже начал уплывать в горы. И, слушая Столетова, Иосиф Владимирович упорно думал о ловком кубанском уряднике, в недавнем прошлом многообещающем дипломате, в совершенстве владеющем всеми языками и наречиями Османской империи.

У командира болгарского ополчения Николая Григорьевича Столетова были свои сложности. Созданное на добровольной основе ополчение состояло из людей, различных не только по возрасту. Восторженных пятнадцатилетних мальчиков и седых отцов семейств, бесшабашных

гайдуков и бывших членов Комитета борьбы за освобождение родины, опытных волонтеров Сербской кампании и наивных крестьян, впервые взявших в руки оружие, объединяла горячая любовь к Болгарии; этого было достаточно для лагерных учений, но Столетов совсем не был уверен, что его дружинники способны выдержать затяжной бой с регулярной армией противника.

Турки не брали болгарских юношей в армию, и болгары, обладая богатым опытом гайдуцкого движения, не имели собственной военной касты. Вследствие этого ополчение формировалось на русском профессиональном костяке: русскими были офицеры и унтер-офицеры, барабанщики и ротные сигналисты, дружинные горнисты и нестроевые офицеры старших званий. Это тоже создавало известные трудности, и не только языкового порядка: русские офицеры, а особенно унтеры, были приучены к иному солдатскому материалу, и русское командование поступило весьма дальновидно, поручив командование всеми болгарскими частями одному из наиболее образованных, уравновешенных и рассудительных генералов — Николаю Григорьевичу Столетову.

Поручик Гавриил Олексин служил, старательно исполняя, что требовалось, но не стремясь к контактам ни с офицерами дружины, ни с ополченцами собственной роты. Он был сдержан

и замкнут куда более остальных, и это обстоятельство не могло пройти мимо чрезвычайно внимательного к подчиненным подполковника Калитина.

— У вас нет друзей. Не знаю причин сего и знать не хочу, но для службы это — прискорбное неудобство. Прискорбное, поручик.

— Да, друзей теперь нет, — Гавриил помолчал, ожидая вопроса. — Я интересовался списками потерь на переправе: среди погибших — капитан Брянов и гвардии подпоручик Тюрберт.

— Позвольте, о Тюрберте я что-то слышал.

— Он похоронен в Зимнице, и если бы вы позволили...

— Поезжайте, — грубовато перебил Калитин.

Поручик выехал в ночь, к утру был в Зимнице. Переполненный санитарными обозами, тылами и службами городок мирно спал под нескончаемый перестук топоров на переправе. Олексин справился у часовых о церкви Всех Святых и, поплутав, нашел ее еще закрытой. Оставив коня у ограды, обошел кругом: за алтарной стеной под увядшими цветами желтел свежий могильный холм. На кресте было старательно и не очень умело вырезано: «ТЮРБЕРТ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ», и Гавриил снял фуражку.

Странно, он и не предполагал, что ощутит над этой могилой столько тоски, горечи и одиночества:

с покойным они были скорее врагами, чем приятелями. Он вспомнил насмешливого рыжего увальня в зале Благородного собрания, где познакомил его с Лорой и где, собственно, и началось их соперничество; вспомнил потного, в брызгах чужой крови, устало и обреченно отбивавшегося от черкесской сабли; вспомнил в боях и ученьях, в спорах и на отдыхе, вспомнил все связанное с ним и понял, что горько ему не оттого, что под этим крестом лежит его боевой товарищ, а потому, что здесь вместе с Тюрбертом лежит их юность. И он, поручик Гавриил Олексин, сейчас навеки прощается с нею.

Подумав так, он тотчас же вспомнил о несостоявшейся дуэли и о разговоре в Сербии после боя с черкесами Ислам-бека: «Хотите дуэль наоборот?» Вспомнил и громко сказал:

— Вы победили, Тюрберт.

Покой и тишина стояли над маленьким кладбищем — только горлинки тревожно вздыхали в деревьях, — и голос поручика прозвучал неприлично и вызывающе. Гавриил ощутил это неприличие, сконфузился и, деревянно поклонившись могиле, быстро пошел к выходу.

Он доложил Калитину по возвращении, но командир дружины не продолжил разговора, возникшего накануне поездки. В иное время Гавриил, может быть, и сам позабыл бы о нем, но

теперь, после прощания с Тюрбертом, слова подполковника о друзьях и дружбе звучали для него совсем по-особому. И в первый же свободный вечер, собрав офицеров и унтер-офицеров своей роты, рассказал о подпоручике Тюрберте и капитане Брянове, о Стойчо Меченом и Совримовиче, об Отвиновском и Карагеоргиеве. И, несмотря на то что аудитория хранила напряженнейшее молчание, был очень доволен собой.

— Этакого и внизу не поймут, и вверху не оценят, — сказал на следующий день подполковник Калитин, коему тут же донесли о странном эксперименте в роте поручика Олексина. — Собрать господ офицеров вместе с унтерами на посиделки — да вы с ума тронулись, поручик.

— Возможно, господин полковник, только умирать им придется рядом.

— Вот и пусть мрут рядом, а сидят врозь, — резко сказал Калитин. — Вы меня поняли, Олексин? И молитесь богу, чтоб о сем всенародном собрании начальство кто-либо не уведомил. Скажи, пожалуйста, какой аргамак необъезженный! Сто ушатов на него в Сербии вылили, а ни на градус не остудили. Ну, и слава богу, это-то мне в вас и нравится. Чуете?

Это неожиданное простоватое «чуете?» прозвучало столь искренне, что Гавриил не мог

сдержат улыбки. А улыбнувшись, первым протянул руку, нарушая устав и субординацию, но укрепляя нечто большее, что электрической искрой проскочило вдруг между ними. И почему-то вспомнил Брянова.

3

Легкая коляска медленно двигалась по запруженным народом и повозками узким кишиневским улицам. Резвый жеребец, игриво перебирая ногами, норовил сорваться вскачь, и саженого роста кучер с трудом одерживал его на туго натянутых плетеных вожжах. Даже в отвыкшем чему бы то ни было удивляться Кишиневе выезд вызывал завистливое восхищение, и Федор чувствовал себя весьма неуютно рядом с невозмутимым Хомяковым. Он тут же решил фраппировать, развалился на сиденье, забросив ногу на ногу и закурив сигару. И, неумело попыхивая ею, мучительно страдал от избранной им самим манеры, от истрепанного, мятого костюма и старых изношенных штиблет.

Коляска остановилась у подъезда самого модного ресторана; при виде Хомякова швейцар согнулся чуть ли не до земли.

— Кабинет, — сказал Роман Трифонович, отдавая трость и шляпу, и тут же оборотился к

Федору: — Может, в залу желаете?

— Все равно, — буркнул Олексин: проклятая одежда лишала свободы и легкости и поэтому Федор злился.

— Коли все равно, то прошу в кабинет. Нам ведь и поговорить надобно, не так ли?

Федор отвык не только от белоснежных салфеток, серебра и фарфора — он давно уж отвык и от нормальной еды, перебиваясь похлебкой да куском хлеба. А стол ломился под грузом изысканных блюд, французских вин и заморских фруктов, и Олексину опять стало не до разговоров; он ощутил вдруг яростный застарелый голод, а утолив его первую атаку — мальчишеское желание перепробовать все, что видят его глаза. Хомяков давно уже закончил трапезу и теперь прихлебывал кофе, попыхивая тонкой, с золотым обрезаем голландской сигарой, а Федор все еще ел и ел.

— Хотите шампиньонов? Рекомендую: фаршированы по-особому.

— А черт его знает, чего я хочу, — буркнул Федор. — Я впрок наедаюсь, если угодно. Нажрись на неделю вперед и спасибо не скажу.

— Сочтемся, — улыбнулся Роман Трифионович. — Слышал я где-то, что миром правят две богини — Нужда да Скука. Вот бы их за один стол, а?

— Глупо, — сказал Федор. — Нужда поест и

заскучает, а Скука проголодается да есть начнет: вот и конец парадоксу.

— Парадокс, говорите? — Хомяков помолчал, будто прикидывая, стоит ли углублять эту тему. — Стало быть, господа социалисты на парадоксе гипотезы свои строят? Вы-то самолично как полагаете?

Федор с огорчением отодвинул тарелку — еще хотелось, но уже не влезало, — залпом, не разбирая ни вкуса, ни букета, выпил вино и, вздохнув, устало откинулся к спинке стула. Посмотрел на Хомякова, на тарелку его с почти не тронутыми закусками, усмехнулся недобро, дернув щекой.

— Ненавидят друг друга дамы эти, куда их за один стол. Их в одном государстве и то вместе держать нельзя, а что-либо одно: либо Нужду, либо Скуку. Так что социализм тут ни при чем, тут и полиция справится: Нужду за решетку, а Скуку...

Он неожиданно замолчал, потому что никак не мог решить, куда же девать скуку в им же придуманном метафорическом примере. Роман Трифионович с улыбкой ждал продолжения, но продолжения не было; чтобы скрыть неудобство, Федор взял сигару, повертел ее и положил обратно.

— Что же вы замолчали, Федор Иванович? Нужду за решетку — это понятно, опыт имеем, а вот Скуку куда девать? Вот то-то и оно, что не

можете ответить, потому как девать госпожу эту совершенно некуда. Веками над этой проблемой мудрецы да правители головы ломают, а воз и ныне там. С Нуждой, с ней, Федор Иванович, все просто: накормил да приголубил, и вся недолга. Только ведь сытая Нужда — так сказать, вчерашняя — сегодня о том, что Нуждой была, уж и помнить не желает. Она в Скуку превращается, вот какой фокус-покус. А Скука — это тупик. С вином, холуйством, дамским визгом, с танцами-шманцами, как в Кишиневе говорят, а все равно — без выхода.

Федор хотел было съязвить, что сейчас как раз и происходит тот парадокс, конец которого он объявил столь поспешно: за столом мирно беседуют Нужда и Скука. Но посмотрел на широкие плечи Хомякова, на его по-крестьянски жилистые, сильные руки, на спокойный, уверенный взгляд холодноватых зеленых («мужицких», как невольно отметил про себя Федор) глаз и понял, что этому господину скука неведома, что Роман Трифионович смел, настойчив, силен и не просто готов к борьбе, а любит эту борьбу, ищет ее и видит в ней истинное наслаждение. Подумал и промолчал.

— А не кажется ли вам, Федор Иванович, что именно в этот тупик нас и заманивают господа социалисты? — продолжал тем временем Хомяков. — Ну, разделим прибыли, ну, землю — мужичкам, ну, накормим, оденем, обуем, напоим

даже — а дальше? А дальше цели нет, потому как нет борьбы, драки за кусок пожирнее. И начнется царство вселенской скуки, которую Россия привычно водочкой заливать примется. Так или не так? Что же молчите?

— А с чего эта вы решили, что я социализм исповедую?

— Ну, хитрость тут невелика, — улыбнулся Хомяков. — Сидит в грошовых номерах города Кишинева образованный молодой человек из господ. Чина не имеет, мундир не носит, торговлей не интересуется, винцом не балуется и даже в картишки не играет. Так кто же он такой после всего этого? Либо социалист, либо юродивый — третьего не дано, как в задачках говорится. И как вас полиция до сей поры не схватила, ума не приложу.

— По какому праву, позвольте спросить?

— Праву? — Роман Трифонович расхохотался, обнажив крепкие один к одному — зубы. — Чудак вы, ей-богу, чудак, Федор Иванович, не обижайтесь. Какое там право, где вы его видели, где встречали право-то это римское? В университетах о сем учили? Ну, так забудьте, нет никакого права ни у нас, грешных, ни в Европе просвещенной. В Европе право денежки заслоняют, а у нас — мундир. Мундир, Федор Иванович, мундир: Россия его до слез обожает, как богу ему

поклоняется и руки враз по швам вытягивает. Ну, припомните, был ли у нас хоть один монарх без воинского звания? Не припомните, не старайтесь. Во Франции, скажем, или в Северо-американских Соединенных Штатах правители почему-то без мундира обходятся, а у нас непременно с таковым. И вот с этого правительственного мундира все и начинается, мера всех вещей и значимость всех граждан.

Роман Трифионович говорил негромко и спокойно, речь его звучала убедительно не потому, что он стремился убедить — он совсем не стремился завоевать симпатии собеседника или хотя бы понравиться ему, — а потому, что все сказанное было правдой. Федор понимал, что это — правда, что так оно и есть, но — странное дело! — понимая эту правду, он не хотел ее принимать. В нем все вдруг взбунтовалось не против сказанного, а против того, кто это говорил. А говорил ему эту правду вчерашний раб, холоп с поротым задом, мужик, видевший в русском мундире прежде всего ненавистного ему барина, а отнюдь не того, чьей профессией была защита как отечества в целом, так и жизни этих же самых мужиков в частности. Он почему-то вспомнил отца, его нечастые приезды в Высокое и его обязательные беседы с детьми во время этих приездов. «Нет большей чести, чем пасть в бою, — говорил он им, мальчикам, жадно

ловившим каждое его слово. — Вы — дворяне, и ваш долг служить отечеству, не щадя жизни и не ища наград». Вспомнил, и с детства внушенное ему чувство гордости за свой род, в течение многих веков исправно поставлявших России офицеров, захлестнуло его.

— У России — особая история, — сказал он, стараясь говорить так же спокойно и рассудительно, как говорил собеседник. — Наш народ мечом отстоял свою независимость, мечом раздвинул границы, мечом неоднократно спасал Европу. Поэтому вполне естественно, что мы и доселе уважаем военную форму и славных героев воинов.

— Резон в наших рассуждениях есть, — согласился Роман Трифионович. — Только с двумя поправочками, ежели не возражаете. Слышал я, что во Франции члены академии числом, если помнится, в сорок человек бессмертными именуются. Тоже ведь государство, мечом созданное, неоднократно мечом же спасаемое и оберегаемое, а бессмертием мудрецов пожаловало, а не генералов. Мудрецов, Федор Иванович, вот ведь чудачки какие, французишки-то эти. Нет, Федор Иванович, не там Россия героев ищет, не там. Поприщ у отечества многое множество, а мы одно для славы и бессмертия выбрали: военно-мундирное. Не пора ли о несправедливости

выбора такого подумать, а? Новые силы в России нарождаются, и силы эти признания требуют. Не для славы — для блага отечества. Промышленность развиваем собственную, ночей не спим, спину горбатим, а нам — палки в колеса. На каждом шагу — палки. Ничего, конечно, справимся, любые палки в муку перемелем, но зачем; же силы-то впустую тратить? Ведь их у нас — ой-ей! — горы своротить можем, потому что вчерашний мужик на простор вышел. А мужицкая кость погибче барской: где барская ломается, наша только гнется.

Вторую половину разговора Хомяков провел совершенно иначе, чем первую. Тут не было места тому почти олимпийскому спокойствию, чуть сдобренному подспудной иронией: тут Роман Трифионович начал говорить с горячностью и желчью, и Олексин не столько понял причины этого изменения, сколько почувствовал их. А почувствовав, не стал допытываться, как да почему так, а сразу же спросил о том, что тревожило его, но спросил хмуро, заранее прикрывая просьбу, ибо просить не любил и не умел.

— И вы что же, тоже горы своротить можете?

Хомяков внимательно посмотрел на него, неторопливо налил вина — прислуге он появляться в кабинете запретил, пока не позовет, — отхлебнул, успокаиваясь.

— Какая же из гор вам помешала, Федор

Иванович?

— Какая? — Федор тянул, не решаясь переходить к просьбе; это насиловало его, унижало, но он заглушил гордость: — По щучьему велению, по моему хотению доставьте меня к Скобелеву.

— Позвольте полюбопытствовать, зачем?

— В отличие от вас с детства влюблен в героев, — криво усмехнулся Олексин. — Коли хлопотно или не можете, скажите сразу, я не буду в претензии.

— К Скобелеву я вас доставить могу, сложности тут для меня нет, но... — Хомяков замолчал, достал из кармана письмо, словно намереваясь показать его Федору, однако не показал и снова спрятал в карман. — Могу и рекомендовать, если угодно.

— У меня есть рекомендация, — резко перебил Федор.

— Прекрасно, — Роман Трифонович улыбнулся. — В Кишиневе сейчас находится человек, который тоже рвется к Скобелеву. Однако он исполняет определенную должность и пока уехать отсюда не может. А вам прямой резон с ним вместе к Скобелеву явиться: он ведь с Михаилом Дмитриевичем еще в Туркестане вместе воевал.

— Кто же это? — заинтересованно спросил Олексин, подумав о хмуром капитане Гордееве.

— Штабс-капитан Куропаткин Алексей

Николаевич. Знаком с ним коротко, и в моей просьбе он не откажет, — Хомяков решительно отодвинул тарелку, оперся локтями о стол. — И вы, пожалуйста, не откажите. Я достану вам пропуск, познакомлю с Куропаткиным, отправлю с ним вместе, только... При одном условии, Федор Иванович.

— Что же за условие? — насторожился Федор.

— Встретить вместе со мною сестрицу вашу Варвару Ивановну.

Это было так неожиданно, что Олексин совсем растерялся. Тупо поморгал глазами.

— Варю?

— Варвару Ивановну, — подчеркнуто пояснил Хомяков.

— А... Где она? То есть где встречать?

— Здесь, в Кишиневе, неделки через две, о чем в письме сообщила, — Роман Трифонович вновь улыбнулся, но на этот раз улыбка его была натянутой, жесткой, почти зловещей. — Жена у меня помрет скоро, вот какие дела, Федор Иванович. Не далее, как через месячишко преставится, больна очень, врачи и руки опустили. А помочь мне Варвару Ивановну встретить да на первое время жизнь новую ей облегчить, отвлечь да развлечь я очень вас прошу. Очень. Потому как намерения у меня весьма серьезные, Федор

Иванович. Весьма серьезные намерения, и очень я рад, что вы в Кишиневе так вовремя оказались. Так что вы мне порадуете, а я — вам порадею. По-родственному, Федор Иванович, ей-богу, по-родственному. По-братски, коли уж прямо сказать.

Федор по-прежнему тупо смотрел на Хомякова, решительно ничего не понимая.

4

Иван Олексин жил теперь в семье старшего брата. Появившись вдруг поздним весенним вечером, поплакав и побуйствовав сколько того требовал возраст и фамильный нрав, успокоился, но в Смоленск возвращаться отказался наотрез.

— Пока долг тете не верну, домой не ворочусь.

— Велик ли долг? — спросил Василий Иванович.

— Больше двух тысяч.

— И где же такие деньги достать рассчитываешь?

Иван неопределенно пожал плечами. Он никогда не интересовался, каким образом зарабатывают люди на жизнь, но складочка меж бровей, появившаяся в ночь последних слез, убедила Василия Ивановича, что дальнейшие

расспросы бесполезны. Пережив за короткое время величайший взлет духа, а затем крушение, Иван нашел силы утвердиться в одной идее; старший Олексин понял это.

— Надо бы в гимназии окончить.

— Сдам экстерном. Здесь, в Туле. Учебники достань.

На том и кончился их единственный разговор о будущем. Иван усиленно занимался, и Василий Иванович в этом смысле был спокоен, зная искреннюю, хотя и не весьма целеустремленную любовь брата к наукам. Однако, чтобы сдать на аттестат зрелости экстерном, требовалось особое разрешение, и старший Олексин, поразмыслив, рискнул попросить о содействии Льва Николаевича.

— Молодец, — сказал Толстой, когда Василий Иванович поведал ему о желании Ивана. — Хорошей вы породы, господа Олексины. Аристократизмом не болеете.

— Крестьянская кровь, — улыбнулся Василий Иванович. — Она нас спасает.

— Всех она спасает, — сказал Толстой. — Отечество в сражениях, а нашего брата — от вырождения. Скажите Ване, пусть спокойно занимается.

Иван окунулся в ученье с неистовостью, будто пытался неистовостью этой загасить нечто, до сей поры обжигающее его. Обида прошла быстро: он

вообще склонен был не лелеять обид, унаследовав эту черту с материнской всепрощающей стороны. Осталось потрясение, сделавшее его замкнутым и неразговорчивым, и молодежь — а в Ясной Поляне ее всегда хватало, — пытавшаяся поначалу вовлечь его в игры и развлечения, вскоре отстала.

Он сдал все экзамены, через несколько дней ему должны были вручить о сем документ, и в скромной квартире Василия Ивановича был по этому поводу затеян праздничный чай. Екатерина Павловна испекла пирог, все четверо уселись за стол, когда раздался стук в дверь и вошел Лев Николаевич.

— Не пригласили, — укоризненно попенял он. — А я поздравить пришел.

После первой сумятицы, испуга Коли, хлопот хозяйки и некоторой растерянности Василия Ивановича все улеглось. Пили чай, ели пирог, хвалили хозяйку. Разговор шел застольный, обыденный: расспрашивали Ивана, что было на экзаменах, да как он отвечал.

— А теперь куда полагаете? — спросил Лев Николаевич. — В университет, по научной части или в техническое заведение, по практической? А может, блеск привлекает, шпоры, сабля, мундир?

— Позвольте повременить с ответом, — негромко сказал Иван. — Вопрос ваш серьезен весьма, Лев Николаевич, я, признаться, думал над

этим, но пока не очень еще уверен.

— Современные молодые люди ищут путей оригинальных, — сказала Екатерина Павловна, как-то особо посмотрев при этом на Василия Ивановича.

Она хотела перевести разговор на опасные с ее точки зрения идеи Ивана о долгах и расплатах, но Василий Иванович взглядов не понял и поддержать ее не успел.

— Современные? — Толстой нахмурился, поставил стакан, помолчал. — Извините, Екатерина Павловна, не согласен. Очень уж много в обиходе нашем слов без смысла, а слово без смысла есть ярлык, обозначение, а не понятие. Вот, к примеру, во все времена к молодым людям применяли слово «современные», а определение это — пустое. Это все равно что утверждать: масло мажется на хлеб. Ну, мажется, а далее что?

— Следовательно, по-вашему, всякая молодежь — современная? — спросил Василий Иванович, сразу поняв, что разговор затеяли для Ивана.

— Безусловно, — Толстой энергично кивнул. — Она родилась в своем времени и, следовательно, со-временна ему. Это мы с вами можем отстать и оказаться не со временем, а они, — он показал на Ивана и Колю, — не могут, даже если бы и захотели. Пушкин это очень хорошо

чувствовал, этот естественный механизм смены, бесконечного обновления жизни.

— У вас уж, поди, и чай остыл, — сказала хозяйка. — Позвольте свежего налью.

— Не откажусь, Екатерина Павловна, благодарствуйте.

— Я ведь совсем другое имела в виду, когда про современность говорила, — продолжала Екатерина Павловна, наливая чай. — Они сейчас самостоятельны весьма, молодые люди, Чересчур, я бы сказала, самостоятельны.

— Можно подумать, что год назад мы с тобой, Катя, американский опыт по наследству получили, а не сами его выбрали, — улыбнулся Василий Иванович.

— Вот-вот! — оживился Толстой. — Удивительная метаморфоза происходит с человеком, как только он шаг в иную возрастную категорию совершает. Смотрите, с какой радостью, как нетерпеливо мы уходим из детства, как рвемся из него. А юность наша покидает нас исподволь, незаметно, будто не мы из нее уходим, а она из нас. Может быть, так оно и есть? Может быть, пора юности — это пора согласия с расцветающей душой, а затем согласие это исчезает, заменяется борением, и мы, проснувшись однажды, уже и перестаем понимать ее, юность нашу вчерашнюю, уж смотрим на нее, как на племя незнакомое, а

посему чуть-чуть, малость самую, и подозрительное. Может быть, отсюда появляется общее определение «чересчур». Чересчур резки, чересчур самостоятельны, чересчур современны... Думать не хотим! — неожиданно резко закончил он. — Привычно и уютно не желаем думать и вспоминать, что сами были точно такими же, и наши маменьки и папеньки точно так же применяли к нам словцо «чересчур», как мы — к своим детям.

Иван в разговор не вступал, хотя со многим не соглашался. Он был застенчив, в присутствии Толстого слегка робел и предпочитал внимательно слушать, часто говоря себе: «Это надо запомнить», если мысль казалась ему спорной или, наоборот, звучала абсолютом. А Василий Иванович был очень доволен, откровенно радуясь не только приходу дорогого для него человека, но и тому оживлению, которое вдруг прорвалось в Толстом, последнее время находившемся в состоянии суровой отрешенности. И, стремясь поддержать это толстовское воскрешение, эту живость и заинтересованность, старался вести беседу в том же русле.

— Да, юность покидает нас незаметно, уходит, так сказать, на цыпочках, вы правы, — говорил он. — А все же как бы определить ее? Что же это за пора такая, весна-то человеческая? Время испытания идей, поисков и сомнений? А может

быть, просто своего места в обществе?

— Это скорее следствия, чем причины, — подумав, сказал Лев Николаевич. — Как определить? Давайте на природу оглянемся, там ведь те же законы. Оглянемся, сравним...

— Со щенками? — неожиданно сказал Иван, густо покраснев.

— Ну, зачем же? — улыбнулся Толстой. — С березой, чтоб обидно не было. Или — с яблоней. Корни исправно гонят соки, дерево наливается силой, крепнет, рвется к солнцу, только — плодов нет. Не отягощены плодами ветви и поэтому с легкостью безмятежной стремятся ввысь, а не никнут к земле, сгибаясь под тяжестью нажитого. Все еще впереди, и каждая веточка, каждый листок знает, что все впереди. Отсюда — спокойствие и гармония; но... — Толстой настороженно поднял палец, — именно от того, что, каждая клеточка знает о своем предназначении, знает и ждет, возникает чувство неудовлетворенности собой. Возникает дисгармония, но не с внешним миром, а внутри себя. Гармония и дисгармония уживаются в юности внутри человека, они еще не вступили в общение с миром, душа еще занята собой, вот почему юность так легко бросается от отчаяния и слез к восторгу и смеху. Стало быть, это такой период в жизни человека, когда душа его принадлежит ему безраздельно, когда она еще не

отъединена от него внешними законами общества, их несправедливостью и ограниченностью, когда она еще крылата. Крылата!

— Значит, все-таки к душе вернулись, — сказал Василий Иванович с долей неудовольствия.

На том и кончился тот памятный для Ивана разговор, который, несмотря на всю отвлеченность, окончательно утвердил в нем то, что до сей поры маячило неясно и бесформенно. Но утверждение это он осознал позднее, а тогда лишь слушал, да запоминал, очень польщенный тем, что сам Лев Николаевич назвал его «своим другом Иваном Ивановичем».

Через несколько дней Иван уехал в Тулу получать аттестат.

Ждали его не сразу: еще в пору экзаменов он, случилось, ночевал у акушерки Марии Ивановны. Однако на сей раз он и вовсе не торопился с возвращением: Екатерина Павловна уже забеспокоилась, но тут с проезжим мужиком пришла записка. Иван сообщал, что поступил вольноопределяющимся во вспомогательные войска, а потому прямо из Тулы тотчас же направляется на юг.

...«Долгие проводы — лишние слезы, дорогие мои. Решение мое окончательное, а беспокоиться обо мне

нужды нет. Мне положена форма, казенное довольствие и даже жалование, которое я распорядился пересылать в Смоленск, тетушке. Долги надо платить, Вася, так ведь ты меня учил?..»

Долги, конечно, следовало платить, и Василий Иванович говорил об этом постоянно с верой и убеждением, но в этом разе почему-то испугался и кинулся к Толстому за советом, Лев Николаевич внимательно прочитал записку и грустно улыбнулся.

— Вот вам — души прекрасные порывы, а вы тотчас же гасить их собрались. Признаться, от вас этого не ожидал.

— Помилуйте, Лев Николаевич, он ведь мальчишка еще, без средств, без жизненного опыта.

— Какого жизненного опыта? — Толстой недовольно сдвинул брови. — Вашего? Екатерины Павловны? Или, может быть, моего?

— Личного опыта. Житейского, естественно.

— Так личный опыт лично и приобретается, дорогой Василий Иванович. А мы все норовим свой собственный житейский багаж, свои баулы да саквояжи юности в дорогу навязать. И очень обижаемся, когда она от них отказывается. А ей наше с вами не нужно, она своего ищет.

— Значит, отпустить Ивана? — растерянно

спросил Василий Иванович.

— Опоздали! — весело засмеялся Лев Николаевич. — Наш Ваня уж, поди, к Харькову подъезжает!..

Тетушка Софья Гавриловна целыми днями раскладывала пасьянсы. Потрясенная семейными трагедиями, неурядицами, неумолимым разлетом молодых Олексиных неведомо куда и неведомо зачем, а главное — запутавшись в таинственных процентах, закладных, векселях и счетах, она окончательно упустила из рук и семью, и дом. Привыкшая к реальным деньгам и почти натуральному хозяйству недавнего — и, увы, такого далекого! — прошлого, Софья Гавриловна не просто проводила время за картами, а, во-первых, загадывала приятные неожиданности и, во-вторых, напряженно изыскивала выход из сложного финансового положения. Она ежедневно принимала старательного Гурия Терентьевича со всякого рода отчетами, ничего в них не понимала, но свято была убеждена, что тихий Сизов предан лично ей всею душою. И это несколько утешало ее.

Гурий Терентьевич Сизов и в самом деле никого не обманывал. Служа верой и правдой и очень уважая хозяйку дома, он старался, как мог, но был от природы ненаходчив, робок и мелочен, а потому ни в какие дела, а тем паче спекуляции

вкладывать доверенные ему средства не решался, предпочитая действовать без всякого риска. Но Россия уже сошла со старой, веками накатанной дорожки, уже с кряхтением, крайним напряжением сил и бесшабашной удалью переползала на иные, железные, беспощадно холодные пути; старые состояния трещали по всем швам, новые, создавались в считанные месяцы, и в этой азартной перекачке хозяйственного могущества из вялых барских рук в энергичные мужицкие риск был непременно условием борьбы. Между привычным барским и казенным владениями смело вклинивалась третья сила — растущий не по дням, а по часам русский промышленный капитал. Дворянская выкупная деньга сыпалась в карманы тех, кто вынес многовековой естественный отбор, сохранив и ум, и хватку, и умение видеть завтрашний день, кто прекрасно изучил своих бывших хозяев, противопоставив их рафинированной бестолковости трезвую деловую жестокость. И оставалось класть пасьянсы да загадывать, авось государь, однажды проснувшись, вспомнит тех, чьи шпаги веками охраняли его престол, и издаст закон, по которому бы растерянному потомственному дворянству тек скромный ручеек постоянных субсидий.

— Вы позволите, тетя?

Варя вошла в гостиную, когда Гурий

Терентьевич уже удалился, и Софья Гавриловна была одна. Она поверх очков строго посмотрела на Варю, со вздохом смешала упрямые карты и сказала:

— Это какой-то рок: я опять ошиблась с валетом треф.

— Я хочу поговорить с вами, — Варя села напротив, нахмурилась, внутренне готовясь. — Причем очень серьезно, тетя.

— Конечно, конечно. Отчего бы нам и не поговорить?

— Гурий Терентьевич ознакомил меня с текущими делами, — Варя заметно нервничала, старалась говорить спокойно и потому подбирала слова. — Кроме того, я получила письмо... от одного человека. Он досконально изучил наше состояние.

— Да, скверно, — согласилась Софья Гавриловна. — Скажу страшные слова: я в претензии на своих племянников. Возможно, это нехорошо, но им следовало бы изыскать нам помощь.

— От кого вы ждете помощи? У Василия своя семья, Федор — прирожденный бездельник, а Гавриил, по всей вероятности, до сей поры в плену. Нет, дорогая тетушка, сейчас такие времена, что помощи следует ждать не от племянников, а от племянниц.

— Я знаю, но не понимаю, зачем, — важно кивнула тетушка. — Она запутана до чрезвычайности, эта самая эмансипация.

— Боюсь, что вам придется подобрать другое определение, когда вы дослушаете до конца. Я много думала, долго сомневалась и даже, как вам известно, обратилась за поддержкой к богу, — Варя бледно усмехнулась. — Вы были совершенно правы, тетя, когда однажды сказали, что мне пора определиться.

— А я так сказала? — искренне удивилась Софья Гавриловна. — Любопытно, что я при этом имела в виду.

— И я определилась, — не слушая, продолжала Варя. — Я дала согласие, — она потерла ладонью лоб, не столько подыскивая слово, сколько прикрывая глаза. — Словом, я определилась на службу к частному лицу.

— Варя...

— Это — единственный выход, — с нажимом сказала Варя. — Разлетелись все, кто мог летать, но дети остались. Георгий, Наденька, Коля. Мама оставила их на меня, я знаю, что на меня, — Варя судорожно глотнула. — Это — мой долг и крест...

— Варвара! — резко прервала тетушка. — Что, в чем твое решение? Я хочу все знать, потому что я должна все знать.

— Вы заменили нам мать, вы отдали все, что

имели, и теперь мой черед, дорогая, милая тетушка, — задрожавшим голосом сказала Варя. — Вы никому ничего не должны — должна только я. И я верну этот долг, даже если меня не примут более ни в одном приличном обществе.

— Варя, Варенька, — Софья Гавриловна суетливо задвигала руками, скрывая дрожь; задетая колода карт соскользнула со столика и веером рассыпалась по полу. — Варя, я, кажется, кое-что начинаю понимать. Если это так, то не делай этого, родная моя, умница моя, умоляю тебя. Ты погубишь себя.

— Я решила, тетя, — Варя медленно провела ладонью по лицу и впервые подняла на Софью Гавриловну измученные бессонницей, странно постаревшие глаза. — Я уже написала письмо, получила ответ и сегодня вечером выезжаю в Кишинев.

— К кому же, к кому? Неужели... Неужели, к этому... в яблоках?

— Да, к господину Хомякову, тетя.

— Варвара! — тетушка встала, выпрямив спину и гордо откинув седую голову. — Ты не сделаешь этого. Я запрещаю тебе. Ты не смеешь этого делать. Ты — дворянка, Варвара!

— Я — крестьянская дочь, — Варя тоже встала. — Не знаю, смогу ли я остановить коня, но в горящую избу я войти обязана.

Так они стояли друг против друга и смотрели глаза в глаза. Потом Софья Гавриловна закрыла лицо руками, плечи ее судорожно затряслись. Варя изо всех сил закусила губу, но и у нее уже бежали по щекам слезы.

— Мы еще попросаемся, милая, родная моя тетушка, — тихо сказала она. — Смотрите, как хорошо легли карты: картинками кверху и все — красные.

Софья Гавриловна больше не просила, не умоляла, даже ни о чем не спрашивала. Со слезами и улыбками проводив Варю, жила той же растерянной жизнью, только выслушивала ежедневные пояснения Сизова уже машинально, по укоренившейся привычке. И так продолжалось, пока однажды Софья Гавриловна не получила приглашения от Александры Андреевны Левашевой.

— Дорогая моя, Софья Гавриловна! — хозяйка встретила тетушку очень любезно, дамы расцеловались и тут же прошли в кабинет. — Я побеспокоила вас по весьма серьезному вопросу. Я, видите ли, патронирую добровольные лазареты, существующие на пожертвования, коими полновластно распоряжается мой добрый гений и щедрый жертвователь Роман Трифионович Хомяков: помнится, я имела удовольствие представить его вам.

— Имели, — Софья Гавриловна горько покачала головой.

— Я тревожу вас именно по его просьбе, — продолжала хозяйка. — Эти постоянные хлопоты с лазаретами доставляют массу неприятностей и беспокойств — не знаю, что бы мы делали без Романа Трифоновича! И потом, эта ужасная война, эта кровь и страдания касаются теперь всех нас, всей России. Мой брат князь Сергей Андреевич уже давно там, на полях сражений: он представляет Красный Крест. А сколько молодых людей уже отдало свои жизни! — Левашева вдруг понизила голос. — У меня гостит дальняя родственница по мужу, юная женщина, несчастнейшее существо! Ее муж пал смертью героя при переправе через Дунай, а была она его супругой всего три дня. Три дня счастья, Софья Гавриловна, и на всю жизнь — горя.

— Да, — сказала тетушка. — Кажется, мы вступаем в какой-то слишком торопливый век. В наше время медовый месяц равнялся полугоду. Мы с покойным мужем ездили в Париж...

— А мы с юной вдовой уезжаем в Бухарест, — перебила Левашева, привычно перехватывая разговор в свои руки. — Она хочет отслужить панихиду на могиле мужа, а меня зовут дела. Не хватает госпитальных палаток, медикаментов, врачебного персонала. Всего не хватает, а война только началась. Что-то будет?

— Скверно, — строго сказала Софья Гавриловна. — Мой брат предрекал смену знамен. Я тогда не поняла его, а теперь понимаю. О, как я теперь понимаю его! К сожалению, и на склоне лет понимание плетется где-то позади желаний.

— Простите, бога ради, простите, я позабыла о главном, — спохватилась Левашева. — Сначала — дела, а потом — все остальное, не правда ли? А известия — радостные, и заключаются они в том, что господин Хомяков просит уведомить вас, дорогая, что все ваши векселя и закладные им погашены вместе с процентами, никаких долгов у вас более нет и кредит ваш отныне неограничен. Бумаги о сем он уже выслал со своим курьером, и днями, я полагаю, вы получите... Что с вами, дорогая Софья Гавриловна? Вам дурно? Вы вдруг побледнели...

— Ничего, ничего, благодарю вас, — с трудом сказала Софья Гавриловна. — Жертва. Вот она — жертва. Сколько благородства и сколько безрассудства. Брат говорил о смене знамен: какая чушь! Какая мужская чушь. Пока женщина будет готова на жертву, пока она во имя семьи готова будет отдать самую себя, ничего не случится с этим миром. Решительно ничего: мир в надежных руках. В женских. В нежных женских ручках, Александра Андреевна.

— Да, да, конечно, конечно, — Левашева

лихорадочно выдвигала ящички бюро, вороша бумаги, звеня склянками. — Куда-то я засунула кайли. Прекрасные немецкие капли...

— Благодарю вас, Александра Андреевна, не надобно никаких капель, — Софья Гавриловна тяжело поднялась с кресла. — Извините, домой, домой. Если возможно, экипаж, пожалуйста.

— Конечно, конечно! — Левашева распорядилась, чтобы экипаж подали к подъезду. — Мне так жаль, право, что вы уезжаете. Нет, нет, я понимаю, понимаю, но я мечтала представить вам Лору... Валерию Павловну Тюрберт, эту несчастную юную вдову. Мы с детства звали ее Лорой, так уж почему-то повелось...

— Нет, не могу, уж извините, — Софья Гавриловна с трудом, медленно шла к дверям, Левашева заботливо поддерживала ее. — Слишком много новостей, дорогая Александра Андреевна. Слишком много для моего старого сердца.

— Я сейчас же пошлю за врачом.

— Ни в коем случае, — строго сказала тетушка. — Я всегда лечусь сама и лечу других. Знаете, у меня есть чудная книга: Лечебник. Там указаны все известные болезни и рецепты. И я всегда пользовалась и семью, и дворню, и знакомых. Ко мне даже приезжали издалека. Правда, сейчас появилась масса новых болезней.

— Позвольте хотя бы проводить вас до дома.

— Ни в коем случае, — повторила тетушка, мягко, но настойчиво отводя руки Александры Андреевны. — Пасьянс.

— Что? — растерянно спросила Левашева.

— Пасьянс, — Софья Гавриловна убежденно покивала головой. — У меня никогда в жизни не сходилась пасьянс. Никогда. А сегодня вдруг сошелся, представляете? Но какой ценой. Какой ценой, Александра Андреевна, какой ценой!..

Глава третья

1

Известие о жестоком разгроме отряда Шильдер-Шульднера было для барона Криденера не просто нежданно-негаданной военной неудачей, не только болезненным уколом самолюбия, но и окончательным крушением всех стратегических замыслов. Тут уж стало не до броска на Софию, когда невесть откуда появившиеся в его тылу турецкие войска, воодушевленные победой, могли ринуться всей массой на Свиштов, находившийся от Плевны всего в трех дневных переходах, сокрушить защищавший его 124-й Воронежский полк, захватить переправы у Зимницы и напроочь отрезать от баз снабжения, от резервов и самой

державы далеко прорвавшиеся в Болгарию разбросанные по расходящимся направлениям русские отряды.

Узнав о конфузе под Плевной, Николай Николаевич старший минут пять топал ногами и ругался, как ломовой. Непокойчицкий невозмутимо ждал, пока он успокоится, а Левицкий — в последнее время великий князь главнокомандующий стал в пику старику все чаще привлекать к общей работе помощника начальника штаба, всячески отмечая его педантичное усердие, — нервно суетился, перекладывая бумаги и пытаясь что-то сказать.

— Что он топчется? — заорал Николаи Николаевич. — Что он тут топчется?

— Осмелюсь обратить внимание вашего высочества на цифры, — рука Левицкого чуть вздрагивала, когда он протянул листок. — У турок не менее пятидесяти тысяч, тогда как в отряде Шильдер-Шульднера...

— Врет Шульднер и Криденер твой врет! — главнокомандующий бешено выкатил белесые глаза. — Без освещения местности прут, без разведки атакуют, все на авось, на авось! — Он вдруг повернулся к Непокойчицкому: — Что молчишь? На сколько соврал Криденер?

— Возможно, что Николай Павлович и не соврал, — задумчиво сказал Артур Адамович. —

Осман-паша собирает в Плевне всех, кого может, да и по Софийскому шоссе к нему все время идут подкрепления.

Тихий голос Непокойчицкого всегда действовал на великого князя успокаивающе. Посопев еще немного и посверкав глазами, Николай Николаевич сел к столу и потребовал карту. Пока Непокойчицкий неторопливо разворачивал ее, Левицкий счел возможным сказать то, о чем его лично просил Криденер:

— Генерал Криденер умоляет ваше высочество доверить ему разгром Османа-паши. Он дал слово смести эту сволочь с лица земли.

Артур Адамович недовольно поморщился: он не любил ругани, громких слов и генеральской божбы. Он любил точно обозначенные на картах войсковые соединения и безукоризненное исполнение приказов. Николай Николаевич заметил его неудовольствие, усмехнулся и сказал, вдруг повеселев:

— Коли сметет, так вопрос лишь в помощи да в быстроте. Кого можем подчинить Криденеру для уничтожения этого Османки?

— На подходе корпус князя Шаховского, ваше высочество, — начал докладывать Левицкий.

— Отряд полковника Бакланова вышиблен турками из Ловчи, — вдруг прервал Непокойчицкий. — Правда, он занял Ловчу снова,

но его непременно вышибут еще раз.

— Ну, и что? — сердито переспросил главнокомандующий. — Где Ловча, а где Плевна...

— Рядом, — весомо сказал Артур Адамович и, оттеснив Левицкого, показал по карте опасную близость этих городов. — Если Осман-паша соединится с турками в Ловче...

— Так не дайте ему соединиться! — крикнул Николай Николаевич. — Перебросьте туда кавалерию. Есть поблизости кавалерия?

— Если соизволите, туда можно направить Кавказскую бригаду полковника Тутолмина, — сказал Непокойчицкий. — Это, конечно, ослабит Криденера, но перед Ловче-Плевненским отрядом можно поставить активную задачу.

Артур Адамович замолчал. Молчал и главнокомандующий, в размышлении барабана пальцами по карте. Потом спросил отрывисто:

— Сколько у нас пушек?

— Пушек? — Левицкий лихорадочно рылся в бумагах, подсчитывая. — Думаю... Думаю, около полутора сотен.

— В два раза больше, чем у Османки? — радостно засмеялся Николай Николаевич. — Огонь, сокрушительный огонь — вот что мы противопоставим его таборам и черкесам. Отдайте бригаду этому... — он вдруг расстроился, поскольку всегда гордился своей памятью на

фамилии, а тут — запомнил. — Кого из Ловчи вышибли?

— Подполковника Бакланова, — подсказал Левицкий.

— Вот ему отряд и подчините. Он битый, — значит, злой.

— Позвольте возразить вашему высочеству, — осторожно сказал Непокойчицкий. — Бакланов битый, но не злой, а нерешительный. А нужен — решительный: задача будет сложной, а сил — мало. И есть только один командир, способный эту задачу выполнить: генерал Скобелев-второй.

Великий князь снова нахмурился и недовольно засопел. Левицкий, очень не любивший Скобелева, уловил это недовольство. Сказал, обращаясь к Артуру Адамовичу и как бы между прочим:

— Извините, Артур Адамович, ваш протезе — шалопай. Его на пушечный выстрел нельзя подпускать к этой войне.

— Скобелев — генерал свиты его величества, — вдруг надуто сказал главнокомандующий. — Не забывайся, Левицкий.

— Прошу простить, ваше высочество, — растерялся никак не ожидавший такого афронта Левицкий. — Мне думалось... Я полагал...

— Лучше Скобелева командира для этого

дела у нас нет, — с не присущей ему твердостью повторил Непокойчицкий. — Я настоятельно прошу ваше высочество. Настоятельно.

— Решено, — отрезал Николай Николаевич. — Пусть докажет, на что способен в европейской войне. А ты, — великий князь погрозил Левицкому пальцем, — ты шпильки для дам побереги.

Западный отряд, наученный горьким опытом, к предстоящему штурму готовился очень тщательно. Никто уже не заикался об «усмирении», и даже сам Криденер перестал презрительно именовать Плевну «плевком»: урок был суров, а ставка слишком высока. И поэтому, когда начальник штаба осторожно намекнул, что не худо разведать Плевну хотя бы со стороны возможного исправления атаки, Криденер, обычно считавший разведку ниже достоинства русского генерала, на сей раз согласился.

— Да, да, и непременно. Узнайте у Шульднера, откуда его отстреливали особенно крепко.

Только после разведки, после секретного совещания с начальником штаба Шнитниковым и «героем» первого штурма Плевны Шильдер-Шульднером генерал-лейтенант барон Криденер решил собрать военный совет. Совет состоялся 14 июля в селе Бреслянице, куда

Криденер пригласил и личного представителя Главной квартиры генерал-майора свиты его величества светлейшего князя Имеретинского.

— Что-то Скобелева не вижу, — ворчливо отметил Шаховской, усаживаясь.

— Не знаю, почему он не явился, — нехотя сказал Шнитников. — Приглашение Михаилу Дмитриевичу было послано своевременно.

— Приглашение или приказ? — колюче взъерошил седые брови Алексей Иванович.

— Это не важно, — холодно отметил Криденер. — Скобелев выполняет задачу охранения, не более того.

— Простите, не понял вас, — сказал Имеретинский. — Одно дело — приказ, дающий генералу право решающего голоса в совете, а иное — приглашение послушать, что будут говорить остальные. Так в каком же роде вы желали здесь видеть Скобелева, Николай Павлович?

— Мне не нужны советы Скобелева, — сухо поджал губы Криденер. — Его опыт войны с дикарями ничем не может нас обогатить. Если ваша светлость не возражает, я бы хотел начать совещание.

— Пожалуйста, — Имеретинский пожал плечами. — Я всего лишь гость, распорядитесь.

Обстановку докладывал Шнитников. Обстоятельно разобрав причины неудачи первого

штурма, обрисовал расположение войск, перейдя затем к данным о противнике.

— По нашим сведениям, неприятель располагает сейчас шестьюдесятью — семьюдесятью тысячами активных штыков.

— Разрешите вопрос, ваше превосходительство, — поднялся Бискупский, обращаясь к Криденеру. — Откуда эти сведения?

— Сведения? — Шнитников замялся. — Мне бы не хотелось упоминать источник, но они, к сожалению, сомнений не вызывают.

— Среди нас есть турецкие шпионы? — сдвинул брови Шаховской. — Так гоните их отсюда в шею, барон!

В комнате возник шум. Пахитонов негромко рассмеялся.

— Спокойно, господа, — сказал Криденер. — Если представитель его величества полагает...

— Я полагаю, что следует уважать военных вождей, — негромко сказал князь Имеретинский.

— Сведения сообщил дьякон Евфимий, бежавший из Плевны, — доложил Шнитников, дождавшись согласного кивка Криденера.

— С какой же поры русская армия основывает свои решения на поповских подсчетах? — зарокотал Шаховской. — Известно, что у беглеца всегда глаза на заднице.

— Главный штаб и его высочество согласны с

этой цифрой.

— Тогда вообще ерунда какая-то, — продолжал непримиримо ворчать Алексей Иванович. — Их семьдесят тысяч, не считая башибузуков, и они — в укрытиях. А нас еле-еле двадцать шесть тысяч, и эти двадцать шесть тысяч мы по чистому полю под пули и картечь пошлем, — он грузно повернулся к Имеретинскому. — Вас устраивает такая арифметика, князь?

— Сил мало, ничтожно мало, Алексей Иванович, — вздохнул Имеретинский. — Но большего у нас нет, а ждать, покуда из России подтянутся резервные корпуса, невозможно.

— Бойня, — хмуро констатировал Шаховской. — Хорошо кровушкой умоемся, господа командиры, хорошо.

— У нас в два с половиной раза больше орудий, — сказал Шнитников. — Именно на этом превосходстве и построен план Николая Павловича.

— Считаю необходимым добавить нижеследующее, — сказал Криденер и, взяв заранее заготовленную бумагу, начал читать. — «Ввиду того, что при такой несоразмерности сил взятие Плевны стоило бы несоразмерно больших жертв, а неудача могла бы иметь крайне вредные последствия на общий ход военных действий, решено, несмотря на доблестный дух войск,

готовых на всевозможные жертвы, испросить предварительно окончательное повеление».

На этом и закончился военный совет, один из самых странных военных советов в истории. Странность его заключалась в том, что в принятом решении уже было заложено неверие в победу, но ответственность за это довольно неуклюже перекладывалась на Главный штаб и самого главнокомандующего. Но непримиримый Шаховской к концу уже уморился, князь Имеретинский получил указание во что бы то ни стало настоять на штурме, а остальные помалкивали, не решаясь спорить с упрямым и злопамятным Криденером. И в результате войска получали приказ, в который не верили их собственные вожди.

— Ну, артиллерия, вывезешь? — спросил Шаховской Пахитонов.

— Бог не выдаст, свинья не съест, Алексей Иванович, — улыбнулся Пахитонов. — Только у Османа-паши, между прочим, стальные орудия Круппа.

— Лихо, — усмехнулся в седые усы Шаховской. — Не даст его высочество согласия, видит бог, не даст. Это же с ума сойти, какой конфуз возможен. С ума сойти!

Донесение о сем совете было отослано главнокомандующему немедленно. Ответ на него

пришел лишь через два дня: видно, и там спорили, взвешивали, сомневались.

«План атаки Плевны одобряю, но требую, чтобы до атаки пехоты неприятельская позиция была сильно обстреляна артиллерийским огнем».

Участь второго штурма Плевны была решена.

2

— Все правильно, — вздохнул Скобелев, узнав подробности разгрома Шильдер-Шульднера, и выругался заковыристой казачьей матерщиной.

Еще числясь в резерве, Михаил Дмитриевич собирал сведения об Османе-паше и его армии, где только мог. Он перечитал все газеты, доставленные ему Макгаханом, хотя обычно читать их не стремился, поскольку не выносил разухабистой газетной лжи. Цифры, сообщаемые англичанами, равно как и русскими, ни в чем его не убедили.

— Сложите вместе и поделите пополам, — сказал опытный Макгахан. — Возможно, получите нечто похожее на истину.

— Сложите все вместе и суньте в печку, — буркнул Скобелев. — Мне нужна истина, а не нечто

на нее похожее.

Накупив у маркитантов табаку, пряников, конфет и других гостинцев, он выехал в ближайший лазарет. В лазарете лежали костромичи, спасенные казаками Тутолмина при отступлении с Гривицких высот. Генерал щедро оделил всех подарками, терпеливо выслушивая большей частью бессвязные рассказы, как шли под огнем, как атаковали редут, как погиб Клейнгауз и как подпоручик Шатилов вел остатки полка в последнюю атаку.

— ...Я, стало быть, замахнулся — ан, а колоть-то и некого!

— Значит, боится турка русского штыка, братец?

— Не выдерживает он, ваше превосходительство, жила не та. Ну, поначалу, конечно, машет, а потом скучать начинает. Ежели, скажем, соседа его положили, так он уж на месте не останется, Он сразу назад побежит или аману запросит.

— А стреляют как?

— Стреляют почаще нашего, много почаще, ваше превосходительство. Верно ли говорю, ребята?

— Да, уж патронов не жалеют, — отозвались раненые, со всех сторон окружившие генерала. — И ружья ихние почаще наших бьют.

— Только вот... — белобрысый паренек с перебинтованным плечом засмутился, вскочил вдруг, вытянулся. — Виноват, ваше превосходительство, разрешите доложить!

— А ты не скачи, парень, не скачи, — улыбнулся Скобелев. — У нас беседа, а не строй, и ты есть раненный в бою воин. Значит, я перед тобой стоять должен, а не ты передо мной.

— Да я, это... — парень широко улыбнулся. — Доложить хотел, ваше превосходительство.

— Говори, что хотел.

— Да он, турка-то, хоть и много палит, а без толку, ваше превосходительство. Он нас боится, и целить ему недосуг. Руки у него дрожат, так он ружье на бруствер кладет и палит, не глядя.

— Верно Степка говорит, правильно, — поддерживали с разных сторон. — Это есть, ваше превосходительство. Шуму, значит, много, а толку мало. На испуг берет басурманин.

— Ну, не совсем так, — сказал молчавший доселе молодой человек с белой повязкой на голове. — Их винтовки дальнобойнее наших Михаил Дмитриевич. Вы позволите так обратиться?

— Позволил уже, — сказал генерал. — Вольноопределяющийся?

— Так точно, вольноопределяющийся Мокроусов, недоучившийся студент. Так вот,

Михаил Дмитриевич, они это качество неплохо используют при нашей атаке. Сплошной веер пуль встречает нас еще издалека, шагов чуть ли не за тысячу. Но Степан прав, целиться они не стремятся. Поэтому веер этот идет как бы в одной плоскости, понимаете? И если, допустим, пригнуться, то он будет идти над головой.

— Что, не снижают прицел? — заинтересованно спросил Скобелев.

— Практически нет. Судите сами: у нас тут куда больше ранений от холодного оружия, чем от огнестрельного. А вот для офицеров — все наоборот.

— Отчего же так?

— Видимо, в офицеров они все же целятся. Может быть, не все, а специально отобранные для этого хорошие стрелки. У офицеров и форма заметнее солдатской, и идут они впереди — их легко издалека определить.

— Следует ли из ваших слов, что для офицеров куда опаснее сближение с противником, чем сама рукопашная?

— Пожалуй, так, Михаил Дмитриевич, Конечно, я впервые был в бою, мне трудно обобщить.

— Впервые был, а видел многое, — Скобелев встал. — Спасибо, ребята, очень вы мне помогли. Дай вам бог здоровья и счастливого возвращения.

Вернувшись домой, Скобелев обстоятельно продумал весь разговор, записав для памяти выводы: турки не выносят штыкового боя в одиночку; стреляют неприцельно и, как правило, с бруствера, что создает одну полосу поражения; сближение с противником опаснее самого боя и, следовательно, это сближение нужно сокращать до минимума. Он писал, обдумывая каждый пункт, вспоминая оживленные, открытые лица раненых, высоко оценивших посещение генералом их солдатского лазарета. За окном густились короткие южные сумерки, генерал все ниже склонялся к бумаге, не замечая, что темнеет. А заметил, когда хмурый адъютант Млынов внес зажженные свечи.

— Вот, пишу, — Михаил Дмитриевич виновато улыбнулся. — Зачем пишу, черт его знает. Разве для истории?

— Там полковник Нагибин приехал, — сказал капитан.

— Нагибин в том бою был, вот удача! — Скобелев захлопнул бювар, отложил в сторону. — Давай его сюда. И коньяк тащи. Да не какой-нибудь, а с «собакой», слышишь, Млынов?

— На всех с собаками не напасешься, — проворчал Млынов, выходя.

Офицерство позволяло себе румынский коньяк (за французский маркитанты драли бешеные деньги), и лучшим считался тот, на бутылке

которого была изображена собака. Поскольку денег у Скобелева никогда не водилось — он умудрялся тратить генеральское жалование в считанные дни, — то хмурый капитан Млынов частенько кормил и поил своего командира из личных и весьма скромных средств.

— Поздравляю! — еще с порога крикнул Нагибин.

— Да с чем поздравлять-то? — сердце Скобелева защемило от предчувствия. — С чем же, полковник?

— Отдельный отряд вам дают, Артур Адамович уж и приказ готовит. Просился и я к вам, умолял, чуть на колени не бухнулся — отказали, — Нагибин хотел выругаться, но сдержался. — Знаю, что бригаду Тутолмина вам передают, а более ничего не знаю ни о составе, ни о задаче. Так что и не спрашивайте попусту.

— Водки! — закричал Скобелев, хватив полковника кулаком в грудь. — Млынов, чертов сын, где ты там?

— Вы же коньяку желали, — сказал, появляясь в дверях, Млынов. — С собакой причем.

— Коньяк пусть Криденер жрет вместе с собакой, а мы по-русски гулять будем. По-русски, козаче, по-нашенски!

Скобелев пил много, но не пьянел, а только оживлялся, говорил громче обычного, чаще смеялся

да распахивал сюртук в любом обществе. Поднимая тосты за вольный Дон, за славу русского оружия и за русского солдата — этот тост Михаил Дмитриевич произносил всегда, при всех обстоятельствах, — Скобелев не забывал о первом деле под Плевной и дотошно расспрашивал Нагибина. Поначалу полковник толково изложил все, что видел, знал и о чем слышал, подробно рассказав о своем последнем разговоре с командиром костромичей.

— А Игнатий Михайлович говорит: веером, мол, дамским наступаем. Веером на турка замахиваемся, а не кулаком. Вот и загинул, бедолага, ни за понюх табаку.

Большого Михаил Дмитриевич добиться от захмелевшего с устатку казачьего полковника не смог. Впрочем, он не огорчился: пил, шутил, оглушительно смеялся и угомонился лишь под утро. Млынов оттащил уснувшего Нагибина на генеральскую постель, а Скобелев выпил две чашки крепчайшего кофе, приказал окатить себя колодезной водой и, протрезвев, ускакал в штаб, моля бога, чтобы только не нарваться на великого князя главнокомандующего. Загодя пожевав специально припасенного для этой цели мускатного орешка, дабы отбить могущий сразить собеседника дух, сам привязал коня у коновязи и велел дежурному доложить о своем прибытии.

Принял его Левицкий: начальник штаба был спозаранку востребован к главнокомандующему. Отношения между Левицким и Скобелевым сложились еще во времена удалой молодости Михаила Дмитриевича и были на редкость простыми: Левицкий терпеть не мог генерала за «шалопайство», а Скобелев ни в грош не ставил стратегические дарования помощника начальника штаба.

— Подписан ли приказ о моем назначении.

— Насколько мне известно, его высочество подписал приказ.

— Какие части мне подчинены и какова моя задача?

— Все изложено в приказе.

— Где же приказ?

— Приказ пришлют после регистрации, как положено.

— Когда освободится Непокойчицкий?

— Когда будет отпущен его высочеством.

— Понятно, — Скобелев изо всех сил скрывал нараставшее в нем бешенство, припадкам которого был подвержен в особенности после неумеренных возлияний. — Могу ли я, по крайней мере, спросить ваше превосходительство о силах неприятеля и общей обстановке под Плевной?

Левицкий поколебался, но отказать в такой просьбе уже утвержденному приказом командиру

отдельного отряда все же не рискнул. Скучным голосом объяснил по карте обстановку, упомянув, что Осман-паша имеет в своем распоряжении не менее шестидесяти тысяч низама. Скобелев недоверчиво свистнул, и Левицкий, прервав объяснение, заметил с неудовольствием:

— Вы не в конюшне, генерал.

— Прошу прощения, — пробормотал Скобелев. — Где Тутолмин?

— На рысях спешит в ваше распоряжение.

— Насколько мне известно, он не участвовал в деле. Бригаду его не растащили по кускам?

— Насколько мне известно, нет.

— Благодарю за разъяснение, — Скобелев коротко кивнул и направился к выходу.

— Может быть, вас интересует, кто назначен начальником вашего штаба? — неожиданно спросил Левицкий.

— Кто же?

— Полковник генерального штаба Паренсов.

— Благодарю, — Скобелев еще раз кивнул и вышел на крыльцо.

Он мог бы дожидаться Непокойчицкого и получить долгожданный приказ, но боялся, что непременно нарвется на самого великого князя, и, поразмыслив, решил найти Паренсова. Он был хорошо знаком с ним еще по Академии Генерального штаба, ценил его богатые знания,

способность быстро оценивать изменчивую обстановку боя и без колебаний принимать решения.

Скобелев разыскал полковника Паренсова куда быстрее, чем рассчитывал, потому что Петр Дмитриевич, уже зная о своем назначении, сам искал этой встречи. Выразив взаимное удовольствие как от свидания, так и от предстоящей им совместной службы, они нашли укромное местечко, где Паренсов и поведал Скобелеву, что в распоряжение последнего поступает не только Кавказская бригада Тутолмина, но и отряд подполковника Бакланова, занявшего недавно Ловчу.

— Откуда знаешь? — спросил Скобелев. — Штабные наболтали?

— Старому разведчику таких вопросов не задают, — усмехнулся Паренсов.

Он действительно был разведчиком: еще до начала войны семь месяцев путешествовал по Болгарии. Прекрасно владея болгарским и турецким языками, Петр Дмитриевич умел видеть, наблюдать, слушать и сопоставлять слухи. Его неоднократно арестовывали турецкие заптии, он сидел в Руцукской тюрьме, но сумел выскользнуть и доставить русскому командованию воистину бесценные сведения.

— Ты веришь, что Осман успел собрать

шестьдесят тысяч регулярной пехоты?

— Сомнительно, — подумав, сказал Паренсов. — Слишком мало у него времени для этого. Можем уточнить, если желаете.

— Каким образом?

— Есть такой образ. И должен сказать правду, если сам ее знает. Пошли.

— Куда?

— К полковнику Артамонову, — сказал Паренсов уже на ходу. — Он хитер и недоверчив, как стреляный лис, но мне вряд ли откажет.

— Что, одна епархия? — не без ехидства спросил Михаил Дмитриевич.

Паренсов молча усмехнулся.

Полковник Артамонов принял их сдержанно. Он знал Скобелева не столько как полководца самобытного и дерзкого таланта, сколько как шумного, не в меру хвастливого и склонного к веселым компаниям молодого человека. По роду своей службы и складу характера он сторонился подобных людей, но с генералом пришел Паренсов, службу которого у Скобелева дальновидный Артамонов сразу же определил как временную.

— Чем могу служить?

Скобелев открыл было рот, чтобы с ходу выяснить то, что его сейчас интересовало, но Паренсов поторопился заговорить первым:

— Просим извинить, Николай Дмитриевич,

мы рассчитываем на разговор особо дружеский и сугубо доверительный. Если мы смеем на это надеяться, то заранее благодарим; если же вы откажете нам, мы покинем вас без всяких претензий.

Артамонов пожевал тонкими губами, потер высокий костистый лоб худыми длинными пальцами, привыкшими держать карандаш и никогда, как вдруг показалось Скобелеву, не сжимавшими эфеса сабли. Тихим голосом пригласив гостей садиться, сказал, что вынужден ненадолго покинуть их по делу, и тут же вышел.

— Бумажная душа, — проворчал Скобелев.

— Эта бумажная душа, Михаил Дмитриевич, два года лазала по Европейской Турции, где и произвела глазомерную съемку местности на протяжении двух тысяч верст.

— Вроде тебя? — не удержался Скобелев.

— У меня была иная задача, — улыбнулся Паренсов. — Но если бы не бессонные ночи Николая Дмитриевича Артамонова, вряд ли бы вы, ваше превосходительство, имели бы новейшие карты этого театра военных действий, — Петр Дмитриевич помолчал. — Хозяин наш скрытен и не доверяет порой самому себе. Поэтому, если не возражаете, расспрашивать буду я.

— А я что должен делать?

— А вы по-генеральски поглаживайте

бакенбарды, если я веду разговор в правильном русле, и кашляйте, если меня унесло.

Вернулся Артамонов. Плотно прикрыл за собой двери, заглянул в единственное оконце, заботливо поправив при этом занавеску. Прошел к своему столу, сел и положил сплетенные пальцами руки перед собою.

— Я отослал людей, в доме никого нет.

— Генерал Скобелев получил в свое распоряжение отдельный отряд, — неторопливо начал Паренсов. — Судя по тому, что к этому отряду причислены части подполковника Бакланова, оперировать нам придется где-то между Плевной и Ловчей. Как известно, турки намертво вцепились в Плевну, но логично предположить, что они попытаются столь же энергично вцепиться и в Ловчу.

— В Ловче — Бакланов, — сказал Артамонов.

— Надолго ли?

Артамонов опять пожевал губами и стал тереть пальцами лоб. Молчание затягивалось.

— Мне желательно знать... — с генеральскими интонациями начал было Скобелев, но Паренсов так глянул на него, что он сразу примолк и начал рассеянно поглаживать бакенбарды.

— Я — не пророк, — тихо сказал Артамонов.

— И все же, Николай Дмитриевич? —

настойчиво, но весьма деликатно допытывался Паренсов. — По сведениям Левицкого у Османа-паши свыше шестидесяти тысяч низама. Если это соответствует действительности, то Осману ничего не стоит выделить треть своих сил для захвата Ловчи. Отсюда вопрос: Левицкий назвал ту цифру, которую вы ему сообщили?

— Левицкий назвал цифру, полученную от дьякона Евфимия, — сказал, помолчав, Артамонов. — Я ему таких сведений не представлял.

— А каковы ваши цифры? — продолжал наседать Паренсов. — Мы ведь не любопытства ради допытываемся, дорогой Николай Дмитриевич. Если мы окажемся между Плевной и Ловчей, куда нам направить свои пушки?

— Пушек-то будет — кот наплакал, — хмуро проворчал Скобелев. — Кровью ведь умоемся и кровью держать будем.

— Осман-паша не пойдет на Ловчу, — Артамонов сказал это настолько тихо, что Скобелев и Паренсов невольно подались вперед. — Разделите цифры дьякона Евфимия пополам, и вы получите более или менее реальное представление о силах Османа-паши.

— Так ведь... Об этом необходимо немедленно довести до сведения главнокомандующего! — крикнул Скобелев,

вскакивая. — Ах, крысы штабные...

— Сидите, Михаил Дмитриевич, сидите, — сквозь зубы процедил Паренсов. — Сидите и гладьте свои бакенбарды.

— Я все сообщил, — глухо сказал Артамонов. — Я все сообщил своевременно, но мою докладную записку навечно положили под сукно.

— Но почему же? Почему? — вновь не выдержал Скобелев.

— Почему? — полковник Артамонов вдруг зло улыбнулся. — Потому что кое-кому это весьма выгодно. Победил — так победил шестьдесят тысяч, имея у себя двадцать пять. Не победил — так тоже потому, что у Османа все те же мифические шестьдесят тысяч вместо реальных тридцати. Некоторые генералы умеют побеждать, а некоторые — воевать. Тоже, между прочим, искусство, — он помолчал. — Надеюсь, господа, вы не воспользуетесь моей откровенностью.

— Благодарю, полковник, от всей души благодарю, — Скобелев встал. — В молчании нашем можете не сомневаться.

На прощанье он так стиснул руку Артамонова, что Николай Дмитриевич долго еще тряс худыми пальцами после ухода неожиданных гостей.

Если пользоваться иносказанием Артамонова, то Скобелев принадлежал к тем полководцам, которые умели побеждать, но способности «воевать» были лишены напрочь. Михаила Дмитриевича никогда не интересовали генеральские интриги, своевременная забота о возможных провалах собственных планов и прочая околотронная суэта. Он был человеком действия, а не закулисных махинаций, строил свою военную карьеру сам и с безгливостью относился ко всякого рода ловкачеству. Отругавшись, сколько того требовал темперамент, выбросил из головы все, что не касалось его, и начал энергично собирать и готовить вверенный ему отряд.

Кавказская бригада пришла вовремя, Бакланов вновь занял Ловчу, но сил у него было недостаточно, и все понимали, что в городе он долго не продержится. Скобелев намеревался бросить на поддержку Тутолмина, но ему приказано было воздержаться, обратив все внимание в сторону Плевны. Одновременно с этим приказом пришло и приглашение на военный совет; Михаил Дмитриевич оценил разницу между приказом явиться и приглашением присутствовать, но не поехал не из-за генеральского престижа.

— Ляпну я там правду-матку, — сказал он Паренсову. — Они же пугать друг дружку силами

Османа-паши начнут, а я, боюсь, не выдержу. Ну их с их советами к богу в рай: давай лучше делом займемся. Ты мне связь с Баклановым наладь, Петр Дмитриевич.

Через день подполковник Бакланов после артиллерийской перестрелки с наступающим неприятелем оставил Ловчу. Ворвавшиеся вместе с регулярной пехотой башибузуки учинили в Ловче страшную резню. Об этом Бакланов донес Скобелеву запиской.

— Болгары кричат, — горестно вздохнул казак, доставивший записку. — Женщин да детишек режут прямо, можно сказать, на глазах. Слушать сил нет, хоть землю грызи.

— А помочь не можете? — недовольно спросил Скобелев. — Кони у вас приморились, что ли?

— Там на коне не проскачешь, ваше превосходительство, там горы кругом да овраги. Пехота нужна.

Казак был крепок, немолод, с новеньким Георгием, но без традиционного донского чуба. Да и фуражку носил прямо, по-пехотному, а точнее — как показалось Скобелеву — по-крестьянски: надвинув на уши, а не лихо сбив на сторону.

— За что Георгия получил?

— Награжден за форсирование реки Прут лично его императорским величеством.